

ISSN 0130 3600

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ 5

1983



ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

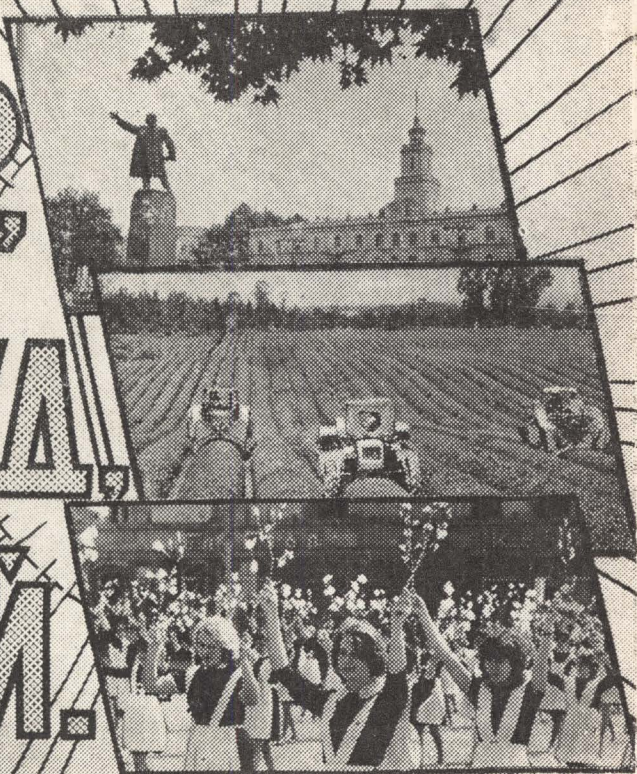
1983/5

ВЕЧНО СИЯЙ
НАД РЕСПУБЛИКОЙ НАШЕЙ,

МИР,

ТРУД,

МАЙ.



ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

Орган Союза писателей Грузии

ИЗДАЕТСЯ С ИЮНЯ 1957 ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ

Планета требует: нет ядерной войне! . . . 3

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

МЕРАБ МЕТРЕВЕЛИ. Стихи. Перевод Семена Заславского. Предисловие Мориса Поцхишвили 5

АЛЕКСАНДР МЕЖИРОВ. Из книги «Воспоминание о Флоренции». Стихи 8

ОТАР ЧХЕИДЗЕ. Лабиринты ущелья. Роман. Перевод Нодара Тархнишвили 14

ЭММАНУИЛ ФЕЙГИН. С рабочего стола. К 70-летию писателя 50

РЕВАЗ ДЖАПАРИДЗЕ. Грузия и грузины. К 60-летию писателя 100

КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

ТУРАМ БАТИАШВИЛИ. Исследуя духовный мир человека... 118

ТАМАРА ЦИНЦАДЗЕ. Судьба художника и его творения 133

МАРИЯ КШОНДЗЕР. «Мы большая семья...». По материалам очерков А. Белого «Ветер с Кавказа» 152

5

1983

К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
КОНСТАНТИНЭ ГАМСАХУРДИА

- ТЕНГИЗ КИКАЧЕЙШВИЛИ.** Обогащая родную литературу. Константинэ Гамсахурдиа о творчестве Л. Толстого и Гоголя 160
- ЛАМАРА САРИБЕКОВА.** «Всегда твой Аветик Исаакян». Неопубликованные письма Аветика Исаакяна Константинэ Гамсахурдиа 168

РЕЦЕНЗИИ

- ВАЛЕНТИНА БАЛУАШВИЛИ.** «Интернационалисты — мы!» 170
- АЛЛА ОТАРОВА.** Замечания и пожелания. Об информационном издании «Филология» 172
- МЭРИ СОФИАНИДИ.** Долгий путь к перевалу. Диалог с комментариями с якутским переводчиком «Витязя в барсовой шкуре» 177

ИЗ ЛЕТОПИСИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

- ПЕТРЕ ШАМАТАВА.** Честь солдата 181

ДОКУМЕНТЫ. ПИСЬМА. ВОСПОМИНАНИЯ

- СЕРГЕЙ ДУРМИШИДЗЕ.** Николай Иванович Мухелишвили. К 90-летию со дня рождения 187

ОЧЕРК

- ТИНА ДОНЖАШВИЛИ.** Так рождается песня 196

К 200-ЛЕТИЮ ГЕОРГИЕВСКОГО ТРАКТАТА

- АЛЕКСАНДР БАРАМИДЗЕ.** «Заветы превратились в дело» 206
- НАДЕЖДА ДИМИТРИАДИ.** Еще один факт из истории русско-грузинских взаимоотношений 221

-
- ХРОНИКА** 223

ПЛАНЕТА ТРЕБУЕТ: НЕТ ЯДЕРНОЙ ВОЙНЕ!

ЕЩЕ никогда вопрос о сохранении мира не стоял так остро, как сегодня.

Масштабы гонки вооружений, развязанной нынешней американской администрацией, не могут не вызывать все возрастающей тревоги населения нашей планеты.

«Выбиваются триллионы долларов, чтобы иметь еще больше оружия на земле, на воде, в космосе, — отметил товарищ Ю. В. Андропов, отвечая на вопросы корреспондента «Правды». — Запланировано резкое наращивание всех видов ядерных вооружений. Президент объявил также о широкомасштабных мерах по созданию качественно новых систем обычного оружия. Тем самым открывается еще одно направление в гонке вооружений».

Не менее опасным направлением деятельности Белого дома является стремление разжечь психологическую войну. Стремясь прикрыть и оправдать осуществляемую Вашингтоном политику гонки вооружений, они во всех мировых бедах пытаются обвинить Советский Союз.

В очерке «Возвращение Одиссея», написанном Нодаром Думбадзе непосредственно после поездки в Америку, есть такие строки: «Как видно, американские руководители ничего не жалеют для того, чтобы... культивировать в детях если не ненависть, то, по крайней мере, чувство превосходства по отношению к Советскому Союзу или страха перед ним. В большой и обширной программе пропаганды этому вопросу отведено не так уж мало места».

Американские дети, нисколько не сомневаясь в справедливости своих заявлений, спрашивали у

грузинского писателя: «А вы правда хотите захватить Америку?».

Агрессивные круги империализма стараются внушить людям мысль, что война неотвратима. Антисоветская истерия, широкая кампания на подрыв нормальных отношений между нашими странами, как и вся милитаристская пропаганда, рассчитаны на то, чтобы обезоружить Советский Союз перед лицом американской ядерной угрозы.

Миллионы людей на всех континентах вышли на улицы своих городов и селений с призывами предотвратить ядерную катастрофу, не допустить новой войны. Защита мира стала первейшим долгом каждого гражданина Земли.

Народы все решительнее берут дело сохранения мира в свои руки, потому что прочный, устойчивый мир — первая и самая настоятельная потребность человечества. Антивоенное движение сегодня является существенным фактором мировой политики.

Люди нашей планеты должны сплотить свои усилия для предотвращения ядерного пожара.

В памяти народной еще не стерты ужасы минувшей войны.

Благословенны слово и дело
мира, а не войны,
Вечный огоньobelisks славы,
бьющий из глубины!

Поэт Шота Нишнианидзе этими строками возвращает нас к мысли о том, что сегодняшняя термоядерная опасность неспособна заслонить, вычеркнуть из памяти все пережитое.

И для тех, кто готов пустить в ход орудия планетарной смерти, это не может не служить суровым уроком.

Новое величайшее преступление перед человечеством совершиться не должно, ибо силы мира могущественнее сил войны. И Советский Союз вместе со всеми миролюбивыми государствами и народами, антивоенным движением всего мира создаст войне надежную преграду.



Входили два дрожащих старика...
И скрипка, потемневшая от ветра,
Как будто осужденная на смерть,
Дарила радость музыки печальной.
И мы в футбол играть переставали
И забывали боль в коленях сбитых,
И на прикрытые, глухие окна
Смотрели мы с обидой и презреньем.
Ах, милосердный проблеск солнца в тучах!
Была и грусть, и жалость — и внезапно
Взрослели мы и понимали с болью,
Что детство, как мелодия, прервется.

.

Я много слышу мастеров искусных,
И, музыке божественной внимая,
Я все же жду мелодий тех печальных,
Что услышал давным-давно подростком,
С надеждой, что в открытом океане
Родного моря возвратятся волны.



В наш век безумных скоростей,
открытий и погонь,
О, чудо сердца моего
вспорхнувший мотылек,
Пусть крылья слабые твои
не опалит огонь —
Ведь жизни трепетной твоей,
увы, недолог срок...



Я в этот храм вошел не для молитвы,
Чтоб обрести божественное солнце.
Стою в тени, как на дороге трудной
Душевных мук в искусстве беспредельном.
И вспыхнула в святом огне душа.
Я в этот храм вошел не для молитвы.

●

В бескрайнем мире
Путь мой долгий длится,
Идя по жизни,
Тайно берегу я
Любовь к тебе,
Как раненую птицу,
Укрыв в груди
Обиду дорогую.

МАРТ

Март-анархист с ума природу свел
И свежестью дохнул порыв мятежный.
Снег с ветром солнечным по улицам прошел,
Оставив грусть во мне и новую надежду.
Пусть на ветвях безлистных птицы спят,
На гребне гор луч солнца преломится,
Пусть на ветвях безлистных птицы спят,
Как в декабре. И все же — это март.
И все же это мартовские птицы!

●

О, малые мои стихи,
Впитайте снега таянье
И ветер с гор, и слез тепло,
И солнца луч живой.
Из сердца прорастайте вы
Целительными травами,
Когда и сердце замолчит,
И смолкнет голос мой.

Перевод Семена ЗАСЛАВСКОГО



Александр МЕЖИРОВ

*Из книги «Воспоминание
о Флоренции»*

ЛЕСТНИЦА

Она прошла по лестнице крутой
С таким запасом сил неистощимых,
Что было все вокруг нее тщетой, —
И только ног высоких легкий вымах.

Она прошла, когда была жара,
С таким запасом сил, которых нету
У силы расщепленного ядра,
Испепелить готового планету.

Она прошла с таким запасом сил,
Таща ребенка через три ступени,
Что стало ясно — мир, который был,
Пребудет вечно, в славе и цветеньи.

ГУАШЬ

По лестнице, которую однажды
Нарисовала ты, взойдет не каждый
На галерею длинную. Взойду
Как раз перед зимой, на холоду,
На галерею, по твоим ступеням,
Которые однажды на листе
Ты написала вечером осенним
Как раз перед зимой ступени те
Гуашью смуглой и крутым зигзагом.
По лестнице почти что винтовой,
По легкой, поднимусь тяжелым шагом
На галерею, в дом открытый твой.
Меня с ума твоя зима сводила
И смуглая гуашь, ступеней взмах
На галерею, и слепая сила
В потемках зимних и вполупотьмах.

БАЛЛАДА О ВОЗВРАЩЕННОМ ИМЕНИ

От зеленого поля села
До зеленого поля стола,
По которому крутится-вертится шар заказной
В знаменитой пивной,
В Метрополе,
Деревенского парня судьба довела,
Как тогда говорили, по божеской воле.
Вскоре сделался он игроком настоящим. А это
Многokrратно усиленный образ поэта,
Потому что великий игрок
Это вовсе не тот, кто умеет шары заколачивать в лузы,
А мудрец и провидец, почти что пророк,
С ним, во время удара, беседуют музы.
Как поэт, он обидой ничтожной раним,
Как игрок, ненадежной удачей храним,
Потому что всегда Серафим
Шестикрылый свои простирает крыла
И над ним,
И над полем зеленым стола,
По которому крутится-вертится тот партионный
Или этот, поменьше, в котором «своя»,
Кариолисовы утверждая законы,
Куш, деленный на доли, кому-то суля.
В святцах смысла особого не разумея,
В честь Есенина перекрестили Егора в Сергея
Игроки игрока. И в назначенный срок
Первородное имя к нему возвратилось. Игрок
Кий сменил на пророческий посох
И творит не на аспиде шульцовских досок,
А на белых страницах — проводки рифмованных строк.
Что прославить ему суждено,
Поле сельское, или сукно,
По которому...
Впрочем, не все ли равно.
У поэзии нет преимущества перед игрой —
Вечный бой — лишь бы только остаться собой.
Ни к тому и ни к этому лиру его не ревную, —
Все присущее миру в гармонию входит земную.

КУРСКАЯ ДУГА

Мать о сыне, который на Курской дуге, в наступленье
Будет брошен в прорыв, под гранату и под пулемет,
Долго молится, перед иконами став на колени, —
Мальчик выживет, жизнь проживет и умрет.
Но о том, что когда-нибудь все-таки это случится,
Уповающей матери знать в этот час не дано,
И сурово глядят на нее из окладов спокойные лица,
И неведенье это бессмертью почти что равно.



Медлительно грузинское застолье,
Нетороплива тостов череда.
И только он один, —
Свихнулся, что ли, —
В их ритм не попадает никогда.
И только он один, не совпадая
С грузинским ритмом тостов,
Напролет
Всю ночь, —
Безумец,
Голова седая, —
За рюмкой рюмку превентивно пьет.



Два профсоюза рикш борьбу ведут
За центр Калькутты. Потому что труд
Полгорсти риса все-таки приносит.
Холера косит, ветер оспу носит,
И прокаженный милостыню просит, —
Два профсоюзных рупора орут.
Полгорсти риса — высшая награда,
По зернышку позорный этот счет.
Но, может быть, другого и не надо, —
Другое на несчастье обречет.
И велорикшам не уйти с окраин,
И не наметить конъюнктурный сдвиг,
И в центре до сих пор еще хозяин
Тот из двоих, кто на своих двоих.

АФРИКАНСКИЙ РОМАНС

Над Ливийской пустыней
Грохот авиалиний,
По одной из которых
Летит в облаках
Подмосковное диво,
Озираясь пугливо,
С темнокожим ребенком
На прекрасных руках.

В нигерийском заливе
Нет семейства счастливей,
Потому что — все случай
И немножко судьба.
Лагос — город открытый,
Там лютуют бандиты,
В малярийной лагуне
Раздается пальба.

Англичане убрались, —
Вот последний анализ
Обстановки, в которой
Все случается тут:
Эти нефть добывают,
Ну а те убивают
Тех, кто нефть добывает, —
Так они и живут.

Нефтяные магнаты
Те куда как богаты,
Ну а кто не сподоблен,
У того пистолет.
Жизнь проста и беспечна,
Нефть, конечно, не вечна,
И запасов осталось
Лишь на несколько лет.

Как зеваешь ты сладко.
Скоро Лагос. Посадка.

На посадочном поле
Все огни зажжены.
За таможенной залой
Нигериец усталый,
Славный, в сущности, малый,
Рейс кляня запоздалый,
Ждет прибытья жены.

Родилась на востоке,
Чтобы в Лагос далекий
С темнокожим ребенком
Улететь навсегда.
Над Ливийской пустыней
Много авиалиний,
Воздух черный и синий,
Голубая звезда.

ВОСПОМИНАНИЕ О ФЛОРЕНЦИИ

В Прекрасную Овчарню, где когда-то
Ягненком спал, — в Овчарню, где ягнята
Когда-то спали, — выпались давно, —
В Прекрасную Овчарню не дано
Вернуться из отлучки. И не надо.
Заложник флорентийского разлада
Случайно отлучился навсегда.
Передавать со Страшного Суда
Свои корреспонденции. Из ада
Горящие терцины исторгать,
И серой пахнуть, и людей пугать.

По цеховой, по круговой поруче,
Вины, которых не было, в зачет
Поставил ты поэту, и в разлуке
Из низости твоей он извлечет
Высокие и трепетные звуки.

И поводырь по инобытию,
У входа в рай, как бы сменив обличье,
Уступит роль высокую свою
И перевоплотится в Беатриче.

ВТОРОЕ ВОСПОМИНАНИЕ О ФЛОРЕНЦИИ

И еще об отлучке того флорентийца во славе и силе
Из Прекрасной Овчарни, в которой о господе люди
забыли,

Жен едва постаревших оставили и загубили,
Ибо в скорости умерли те в одиночестве или
За оградой кладбищенской спят в отчужденной
могиле,

Вместо рая мужьями из ада отправлены в ад.
Ну а эти мужья, эти люди из праха и пыли,
Эти судьи сперва обличали его,
А потом и совсем отлучили
И анафеме предали, зная, что не виноват.

ПОСЛЕДНЕЕ ВОСПОМИНАНИЕ О ФЛОРЕНЦИИ

И частый зумер, и гудки короткие,
И мука неизбывная моя,
Когда решали покарать на сходке,
Когда решали порешить меня,
Когда на сходке пили и закусывали,
И говорили по-латыни, и
По-итальянски, вовсе не зулусы,
А флорентийцы — палачи мои.
И мука неизбывна — не в палачестве,
Не в том, что отправляли прямо в ад,
Не в страхе, и не ужасе, тем паче. —
А в том, что знали — что не виноват.



Отар ЧХЕИДЗЕ

ЛАБИРИНТЫ УЩЕЛЯ

Р о м а н

Перевод
Нодара ТАРХНИШВИЛИ

I.

ПОЭТ снова прочел стихотворение, и снова раздались аплодисменты, долгие громкие аплодисменты; маленькие девочки преподнесли поэту цветы, девочки, похожие на цветы. И зал унялся — новое стихотворение читал поэт. Отчетливо звучало каждое слово, отчетлив и певуч был каждый звук, отчетливые, напевные звуки лились в зал. Был праздник зала, испытание нового его зала. И зал выдержал: не придрался бы ни один акустик, ни один самый что ни на есть привередливый дирижер, режиссер и иже с ними. Вне всякого сомнения, именно здесь будут проходить концерты, концерты симфонической и камерной музыки, устраиваться вечера, ставиться спектакли, и никто не сможет пожаловаться на неудобство сцены или кулис, или уборных, или мест для зрителей, нет, зал безупречен во всех отношениях. Такие залы, говорили, и в больших городах нелегко возводить, а ежели и возво-

дят, то под руководством опытных архитекторов, по строго научным расчетам, используя редкие материалы, затрачивая большие средства. Тут все получилось наоборот, как говорится, наудачу — тут строили не зодчие, но желание и жажда; горячее желание ущелья, жажда отступника, жажда земли вечная, неиссякаемая, как сама земля. Впрочем, может, все это почудилось, и страстное желание перевоплотило мираж в действительность. Может, все это никакое не чудо, а всего-навсего плод воображения, порожденного тем же всеобъемлющим желанием, воображение осуществило неосуществленное. Но сомнения улетучивались мгновенно, потому как все было настоящим и вызывало восторг; а пусть это и подобие настоящего, плод воображения, призрак, пыль, пускай себе, главное — человека радует. Да еще как!

Дрожат уста поэта, шепчут, промелькнет звук, прилипнет к губам — и звучит, замирая, и наступает тишина, чтобы через мгновение разнес ее в клочья гром рукоплесканий, зал вторит, подхватывает и выплескивает звуки вместе и по отдельности, очерчивает голос каждого, но не выделяет, просто не перемешивает друг в друге. При чем тут воображение, все здесь подлинное, подлинное и великолепное!

Поэт склоняет голову, раскланивается, раскачивается из стороны в сторону, великое множество людских голов раскачивается в зале: взъерошенные и растрепанные головы юношей, редковолосые и лысые головы мужчин средних лет или стариков, головы девушек и женщин с приглаженными и взбитыми волосами раскачиваются в такт аплодисментам, раскачиваются и при тусклом свете электролампы переливаются, как звезды, и поэт плывет над звездами, он — земной, он — небесный, он плывет над звездами. Все это чудится, конечно, в действительности поэт кланяется народу, и народ ему рукоплещет, зал откликается, ну, а остальное пусть будет трижды воображением, пусть видением, лишь бы рождало радость и восторг, развеивало злобу (так думает Зураб Квацихели, и все описанные выше видения — его, и мечты — его, и этот зал — творение его рук, его заветная мечта). Мечта юности, — воплощение мечты относится к поре, когда он вконец потерял надежду, когда лишь одна

мысль растворила в себе все другие, свела на нет все сокровенные помыслы, одна всеобъемлющая идея (свернуть в сторону или постараться обойти ее считалось преступлением и наказывалось с неслыханной суровостью). Все мысли сконцентрировались в раздумьях о тяжелой индустрии. Но вот нежданно-негаданно вырос этот дворец, театральный, музыкальный, концертный зал и возник праздник, расцвеченный всеми цветами радуги, и раз сбылась заветная мечта, пусть будет радость, великая радость во славу сбывшейся мечты.

И он сидел, охваченный радостью (я говорю о Зурабе), в самом конце, в углу последнего ряда, и ликовал, а там, впереди, на сцене, поэт наслаждался аплодисментами. Сцена заполнялась букетами, один другого краше (под конец прекраснейший букет преподнесет прекраснейшая из отдыхавших тем летом женщин), а пока на сцену поднимались девочки, потом девушки, сцена обрастала цветами, и поэт возвышался на глазах, поднимался на недостижимые вершины прекрасного, а купол звонил, купол звенел, разносил окрест величие грузинского слова, звонил чистым светлым звоном, и щемящая душу радость охватывала Зураба. Он никогда не испытывал ничего подобного и не ждал, не мечтал, ему и в голову прийти такое не могло. Он хотел создать, обстоятельства не позволяли, и он предался грусти, грустил и прогрустил бы остаток дней своих (встречались ему люди, исполненные грусти, многое он узнал о грусти из книг и решил, что жизнь есть грусть, грусть по неосуществленному), но вот (о, чудеса!)... Все же сбылось, зал возник, и жизнь его началась с праздника грузинского стиха, грузинского слова, пусть в лесу, в ущелье, что с того — по ущельям и потоки неслись, потоки поэзии, и звонило слово, словно колокол, праздничным звоном оглашало все окрест. Купол звонил, купол подхватывал слова и возвращал обратно, гудел, приутихал, замирал, затрагивал тончайшие струны слуха. Он об этом никогда и мечтать не мечтал (Зураб, конечно, я говорю о Зурабе), он лишь следовал велению сердца и создавал сцену по подобию мцхетского Джвари, зал по подобию Урбнисской базилики, создавал, соединял две особенности, уменьшенные, конечно же, относительно уменьшенные, соеди-

нял и маскировал как мог, — кто бы простил тебе крест и церковь во времена победоносного похода на веру Христову, кто бы простил? Что там спрашивать! Вот он и скрывал сцену ширмами, боялся и скрывал, тем самым скрывая и свой страх за еловыми стенами (и стены, и купол были сложены из тесаных еловых бревен, и перекрытие еловое, из той звучной, шелестящей ели, они похищали каждый звук, каждое слово и возвращали четко и образно. Со сцены говорил один человек, и слышались слова одного человека всем одинаково, воспринимались всеми, сейчас на сцене стоял один, но если бы было их много, скажем, хор или оркестр, или актеры представляли трагедию или комедию, хоть оперный спектакль, ничего не могло потеряться, исчезнуть, заглохнуть, нет, даже трепетнейший звук скрипки звучал бы с тончайшими нюансами, по крайней мере так он думал сейчас и радовался (не стану повторяться, что говорю о Зурабе). Пока что на сцене стоял один человек, красовался перед публикой, но если бы не один, а много людей стояли — все равно аплодисменты и возгласы одобрения принадлежали бы залу, самому залу, и букеты подносились залу, хотя их принимал поэт, размещал на сцене, ходил среди цветов, тем не менее залу радовались цветы, и куполу, и поэту, разумеется, и те мерцающие звезды, сонмы мерцающих звезд среди волнистых и растрепанных волос, созвездия Большой или Малой Медведиц, Млечного пути или созвездия Весов, Рака, Девы, Голубя, Геракла и Персея — все они радовались куполу, и радовались ему волнистые и растрепанные волосы, и щетинистые волосы, и длиннущие, и прилизанные.

Он и хотел, чтобы радовались залу. Пусть они и не оборачиваются. Они бы и не обернулись, конечно, не беда, он и без того узнал каждого художника или ученого, преуспевающего или неудачливого, возвысившегося или угнетенного, искреннего или коварного, высокомерного или скромного. И каким бы он ни был, кем бы ни был — здесь он слушал внимательно, горячо аплодировал, выкрикивал слова одобрения, когда поэт умолкал, когда он кланялся, или скрещи-

Отар Чхеидзе. Лабиринты ущелья.

вал руки на груди, или с раскрытыми руками подавался вперед, точно собирался прижать к груди аплодисменты, овладеть ими безраздельно, — люди были щедры на аплодисменты, они, эти люди, не раз его слушали, не раз ему рукоплескали, прекрасно знали его произведения, лично были знакомы, многое из того, что он прочел сейчас, им давно было известно, — единственное, чему они удивлялись, была надпись на пригласительном билете, — приглашали на открытие зала. Ну, зал так зал, сельский клуб, значит, или хлев или бывшая церковь, переделанная, переоборудованная под клуб, понятно — они привыкли к этому в последнее время, к чему привыкаешь, то и представляешь, тем не менее приехали, съехались со знаменитых курортов (более знаменитых, чем Квацихе), по лабиринтам ущелий выбрались в Квацихе, собрались, и удивлению их не было границ. Ясное дело — где-где, а здесь, в этом заброшенном местечке?.. Ни в Квишхети, ни в Цихисджвари, ни в самом Боржоми, сердце лабиринта ущелий, не увидеть ничего подобного, нет, не увидеть. И аплодировали, благодарили поэта за доставленное им ощущение неожиданности, а Зураб, съездивший, сидел в конце, в углу последнего ряда, и слезы наворачивались на глаза. Нет, он не ронял слез, они навернулись сами по себе, образовали озеро, и сквозь озеро слез он смотрел на утопающего в цветах и аплодисментах поэта.

Не стал бы представляться ему Зураб Квацихели ни в миг торжества на сцене, ни после, ни поэту, ни кому-либо другому, не стал бы представляться, кичиться, мол, моих, моих рук дело, и даже слова не обронил бы — а вдруг не поверят, что тогда?

Ничего уже не делал человек, в одиночку не хватало ни смелости, ни смекалки, ни сил, о средствах и говорить нечего; человек лишился инициативы, она ускользнула от него, иссякла, он лишь покорно следовал за ней; обязанность свою выполнял, конечно, но обязанность одно, а это другое, этот театр, увеселительный или концертный зал где-то в глухом ущелье, наверху, у истоков реки, — это другое, безусловно. Обязанности, что на него возлагали, он выполнял, но в данном случае ему никто ничего не поручал, и не поручил бы — ничего похожего не существовало нигде,

не было нигде в этом лабиринте, лабиринте дач, лабиринте ущелий. И сам он никому ни слова не говорил о своей мечте, таил ее в сердце, какая-то бумажка все же требовалась, и момент должен был наступить соответствующий. Уже не оставалось ровно никакой надежды, затерялась она, но явилась все же, потому как время настало соответствующее. Оно, это время, последовало за потоками, именно за потоками и за ненастьем. Такими выдались три весны подряд, ненастные, недобрые, ливневые. И одной хватило бы, конечно, однако, чего уж мол там, и пошли три весны подряд одна другой ненастней. Упомяну я, пожалуй, все три, и Зураб показывал три пальца, когда говорил о зале, показывал и вертел их, и затевал приятный разговор, говорил приятные слова. Но сперва мне надо рассказать о недоброй весне.

По лесу пронесся селевой поток, вспененная вода забурлила в оврагах, превратила овраги в небольшие канавы; селевой поток пронесся через Квацихуру, выворотил деревья; как тут не удивляться — с корнями вырвал огромные ели и сосны, свалил и потащил вниз, в долину, разбросал по зеленой долине, бери, используй, благо легко подступиться, и река, словно приказали ей, обезумевшей и взбешенной, выполняя приказ, умело пригнала их на положенное место, здоровые бревна вытащили, пригодились и тяжелой индустрии, и развернутому строительству, и планы невыполненные были выполнены, и награды получены, и заслужено великое множество похвал. Переживали, правда, лес погибал, но и наградам радовалось тамошнее начальство, радовалось, ходило с гордо поднятой головой и поступало решительно и смело (головокружение от успехов, что ли?). Не в этом дело, дело в том, что именно тогда предстал Зураб перед местными руководителями: остаются, говорит, нестандартные деревья, портятся, соберем, сколотим небольшой клуб, плакаты вывесим, стенгазеты, развернем агитацию за первичность тяжелой индустрии, агитацию на благо всеобщей трудовой активности и атеизма. С такими или примерно с такими словами обратился он к руководителям, то же изложил письменно, когда потребовали

изложить письменно, обсудили и идею Зураба одобрили, ему же поручили ее осуществление, обнадежили, начинай, мол, мы тут рядом, поможем. Ему было по силам увлечь народ, и он увлек его. Ну и здоровье сохранил этот сухопарый человек, и не то что сохранил, а как бы поздоровел пуще прежнего.

И он носился вверх и вниз по Квацихе, видели его идущим по высохшему дну оврага, карабкающимся по размытым обрывам впереди запряженных в ярмо волов. Он стаскивал отобранные им деревья, покуда забыв о «нестандартных». Рвалась одежда, калечились руки и ноги, запутывались постромки, ломались ярмо и шкворень, но ничего, — говорил он самому себе, — ничего, и тащил вниз отборные бревна.

Носился Зураб по лесу, оврагам, лесопилке, строительным лесам. И поднимался огромный сруб, огромный и неуклюжий, похожий на большой саманник. Дело однако шло медленно, затягивалось, но разве в чем другом не было задержек, конечно же, но они его торопили, он и сам торопился; и поднимался огромный сруб, похожий на большой саманник.

Только высокие узкие окна могли заставить кого-нибудь задуматься: «А что это, в самом деле, строят?» Только окна, ничего больше, снаружи ничего больше, а вход был закрыт, иначе доброжелателей стала бы душить зависть со двора, а внутри — врагов, — поговорка наизнанку, ведь сказано: доброжелатели в самом доме завидуют, а враг со двора. Так и таким образом, там — купол, здесь — своды о высоких колоннах, украшенные орнаментом и резьбой, все из дерева, и светильники из дерева, в виде бабочек, бабочки, понятно, также из дерева.

Получилось нечто радующее глаз, простое и приятное, вписалось в Квацихе, маленькую скалистую деревню, окруженную лесом стройных деревьев. Это и радовало притаившегося в углу последнего ряда человека с влажными глазами, потрудившегося вдоволь, не пожалевшего сил и довольного делом своих рук.

Зал привлечет множество истинных творцов, соберет их вокруг себя, они и зиму выдержат, не то что лето, хотя и лето требовалось выдержать в скалистой деревне, скала могла сорваться, нависнуть над рекой Квацихурой, нависнет — гляди, упадет, сползет. И все

же пришли, позвали, и они пришли, выбрались из ущелий, из лабиринта ущелий, и поэт пожаловал, и его поклонники.

Будут ходить, будут, только бы хорошие вечера устраивались. И будут устраиваться: в Боржоми отдыхает государственный квартет, готовится к новому сезону Руставелевский театр, танцевальный ансамбль, говорят, находится в Бакуриани, оперных певцов видели в Цеми, хор Кавсадзе, по слухам, в Квишхети, ну а в Боржоми кого только не встретишь, пригласишь, не откажут, конечно же, песни для тебя не пожалеют, не пожалеют, развеселятся и Квацixe оживят, уже чуть воспряла духом скалистая деревня, то ли еще будет; сегодня, к примеру, на сцене только один поэт, а какое оживление вокруг, сцена заполнилась цветами, поэт не может шагу ступить ни вперед, ни назад, стоит на месте и взывает к любви, одной только любви. Ему подарят еще букет, преподнесут венки из полевых цветов... И, — о чудо, — поэт спускается вниз, в партер, он тоже аплодирует, вертится, поворачивается, суетится, аплодирует слушателям, аплодирует цветущей сцене, сцене из цветов.

Купол подхватывает аплодисменты, соединяет их, вращает, закручивает, дробит и посылает на цветущую сцену.

Так закончится праздник зала, — ну а потом — ужин!.. О нем не стоило заботиться, хотя начало несколько подкачало: поэт расстроился, помрачнел, смутился, одним словом, расстроился; Зураб чуть было не испарился: страх забрал его — из-за того, что поэт расстроился. Быть может, мне именно с этого следовало начинать свое повествование, но поздно, впрочем, так оно и лучше — страх пережит, буду рассказывать спокойней.

Одним словом, поэт расстроился, его нельзя было назвать молодым и потому неопытным, и сцена его привлекала, и читал он стихи отнюдь не плохо, объездил всю Грузию, ни одной ramпы не пропустил, а не было сцены — читал с балконов, и на столы взбирался, ну а на стулья вскакивал запросто и воспевал любовь, возносил молитву, говорил, замирая, и все

про любовь, во имя любви, любви, любви... любовь была его святыней, и если он где выступал, если где молился, там возникал храм: незримый, он всегда был рядом, повсюду, везде, везде возникал, куда бы ни приехал поэт. Был он всегда влюблен и избалован поклонницами, они сопровождали его, как правило, свита девиц, свита дам, и представьте себе — степенные женщины и те теряли разум, не боялись трудностей дороги, ни во что не ставили время и, если знали, где он находится, немедленно устремлялись туда, провожали, задерживали, ждали, встречали, поэт блаженствовал, и блаженство казалось ему вечным. Каким же оно может показаться, когда ничего другого не ощущаешь, ничего другого не помнишь и не ждешь, и представлялось блаженство вечным, как сама поэзия. Но вот потускнело его имя, не сейчас, нет, отнюдь не в сию минуту, а еще до того, как он пришел в этот зал. Достаточно времени прошло с тех пор. Он недоумевал, не мог взять в толк, что же произошло. Ничего странного, просто ему казалось, все это не коснется поэзии, пройдет мимо или пойдет вперед...

Уже не до любви было, не до любви, — и потускнело слово поэта любви, он не сумел воспеть тяжелую индустрию, не справился с темой, не сумел уместить в строфу, остался по эту сторону, а они ушли вперед, стороной противоположной; вдохновение исчезло, испепелилось или истлело — неважно; вдохновение забыло его, и он угас.

Здесь, в окружении гор, лесов, ущелий и пастбищ, в атмосфере буколик (ведь и этот прекрасный театр снаружи походил на саманник, следовательно, вполне годился для буколик), он воспрял духом, ожил, растерянность и ошеломленность, владевшие им, выветрились мигом, он позабыл возбужденных критиков и обвинения в декадансе, позабыл, промчался сквозь века, обнял Вергилия и Теокрита, обрел крылья, взметнулся; еще раз взметнулся ввысь и — поэт стремительно вышел на сцену, вышел на аплодисменты, жадный до аплодисментов, истосковавшийся по аплодисментам, вынесся на сцену, словно сокол, домчался до противоположного ее конца и замер, потом почтительно склонил голову, гордо, восторжен-

но, склонил голову... и не смог поднять ее — в первом ряду сидела краса того лета, царица, которая должна была преподнести ему венец в самом конце вечера — она сидела в первом ряду и перед нею он склонил голову, склонил и... растерялся, смутился, его дрожь пробрала, дрожь с головы до пят. Нет, не женщина его смутила, ничуть, не такой уж она была ослепительно красивой, да и поэт не был изголодавшимся, истосковавшимся по красоте, по женской красоте, оказалось, супруг приехал к царице, супруг сидел с ней рядом, не думай, читатель, будто поэт был влюблен в нее, будто супруг ревновал, нет, не думай и не допускай подобной мысли, и не опережай меня своим воображением: дело в том, что он, супруг царицы, являл собой должность, свежесть тематики являл, а этот поэт вышел и заладил старую песню — это и выбило его из колеи, это его и смутило... Замереть или окаменеть, голову склонить или пасть ниц... он искал выхода, искал спасения и не находил, зал затаил дыхание, а он все не находил выхода, выражение удивления появилось на лицах присутствующих, царица побледнела, чуть было сознание не потеряла — или потеряла: дальше молчать было неприлично, и поэт закрыл глаза (закрыл глаза и Зураб) и зашептал, зашептал слова о любви: будь что будет; к чертям, будь что будет, он начал шепотом, шепотом начал и шепотом закончил. Прошло, прозвучали стихи, прозвучал сам поэт, прозвучал зал... Собственно, с этого и началось, трепетал купол, трепетали своды, зал трепетал, трепетало сердце, сердца трепетали. Получилось, и он изрядно сорвал аплодисментов и после этого уже не пугался, не смущался, читал, звенел, и лицо царицы повеселело, и супруг царицы не хмурился, не смотрел исподлобья, угрожающе, не отличался от других ничем, не стушевался, но и не сверкал в созвездии.

Он был выбрит до синевы, черная борода въелась в кожу, казалось, смола течет по щекам, по подбородку, по усам под широкими ноздрями; с какой стати поэту было пугаться? Он сам удивился своему испугу, удивился и осмелел; как легко испугался, так легко и осмелел, осмелел и прекрасно завершил вечер,

и венец ему вручили, и венчающие вечер аплодисменты грянули, и руку царицы поцеловал поэт...

Когда он спустился со сцены, когда он вертелся среди людей и цветов, вертелся, кружился, додумался, наконец-то додумался и поцеловал ей руку, супругу ее руку пожал по-мужски, уверенно, мол, не думай, что я испугался или растерялся, по-мужски, уверенно пожал он руку ее супругу.

II.

ТАК завершился вечер стиха и начался ужин, тут же — не хотелось отсюда уходить, конечно же, не хотелось, и не нашли бы они лучшего зала в уютной деревушке...

За столом они очутились рядом: поэт, царица вечера Элисабед, Эли, как ее ласково называли, и ее супруг Серги Доблиани, у него тоже было прозвище — Бахчо, но не это примечательно, примечательно, что они оказались вместе: поэт тенью следовал за Серги Доблиани, куда бы тот ни пошел — он за ним, где бы тот ни сел—этот рядом, причем все выглядело так, будто в этом нет ничего особенного, никакой странности — все получилось само собой, увлеклись беседой, слово их сблизило, то ли слово, то ли осторожность, поэт извинялся, на всякий случай извинялся, скорее жаловался извиняющимся тоном: «Давно я не выступал, совершенно другого рода вечер хотелось устроить, преобразенный, обновленный, не удалось, вышло по старинке. Впрочем, может, и невозможно меня переделать, видно, постарел, ничего удивительного, поэзия старит до времени, и молодит не вовремя, смотря как на кого взглянет, ее воля, поэт — игрушка в руках поэзии... кроме того, сам стих — странен и своеобразен, многообразен, полифоничен, как грузинская песня, и все-таки основа основ грузинского стиха — шаири, и такой странный феномен шаири, уместить в него не всякое слово, не воспримет размер слова инородного, не воспримет, заартачится; не знаю что делать, как ни старался, как ни насиловал себя, никак не сумел уместить в шаири слово «индустриализация», никак не сумел, не знаю что и делать,

хоть топись, да вы сами попробуйте, хотите, вместе попробуем, ничего не получится, стихотворения не будет, что-то получится, конечно, только не поэзия, вот что меня беспокоит, мучает, один Галактион сумел опередить: «плечом к плечу, плечом к плечу, плечом к плечу стоят колхозы» — слышите, что за гимнографический ритм! Это Галактион! Галактион есть Галактион! Не все думают так — что, мол, опередил нас, но ведь это и есть опередить, он первым использовал податливую форму — «коллектив», другой уже должен обратиться к другой, другая уже не такая податливая, не поддается ни слуху, ни перу, невозможно вычеканить, вылепить — не подчиняется резцу. Нет, не обижайтесь и не думайте, будто я немоощен, и у Галактиона не все получается великолепно, вот послушайте: «Сейчас никто не уничтожит в Грузии погоды ясные, ферромарганец и элстанции, взятый курс на индустриализацию...» Ну как, вам нравится? Разве это грузинский язык или поэзия, это не грузинский язык и никакая не поэзия, не грузинское и не поэзия; я так думаю; да что там я — ничего особенного, и другие ничего особенного, тот же Галактион, если угодно; поэзия, милый мой, есть бог, поэзия — провидение, все мы — в ее руках, она играет нами, она мучает нас, истязает, захочет — вознесет в небеса, захочет — заставит повернуть вспять, поиздевается, что пожелает, то и заставит сделать, что пожелает, то и заставит сказать, с нас спрашивать нечего, в особенности с меня, тем не менее стараюсь, попытка — не пытка, верю и добьюсь своего, и будущий мой вечер будет иным, он будет таким, каковым вы изволите хотеть, но нужно время, время позволит сделать все, время все лечит».

— Времена велят, — вставил Серги.

— Времена властвуют, а не цари, — добавил или уточнил поэт.

— Цари повержены, народ нынче распоряжается своей судьбой,—Серги слегка нахмурился, насупил бровь черную, густую растрепанную бровь, одну бровь.

Отар Чхеидзе. Лабиринты ущелья.

— Народ, народ, верно изволите говорить, это я так, ненароком вспомнил, — заторопился поэт, заторопился и забеспокоился, полагая, что все было исправил, с трудом исправил, и тут же, в один миг, одной пословицей погубил. — И употребление пословиц — манера устарелая, — заметил Серги Доблиани, он же Бахчо. — Надо говорить прямо в лицо, ясно и просто, без обиняков. — Но пословица — это позиция, а поэтическое слово обладает иной, особой силой, — заупрямился поэт.

— Потому и прощают вам ошибки, что поэтическое слово — особое, — улыбнулся Серги Доблиани, — но поскольку всему положен конец, и у ошибок поэта должен быть конец, и терпению есть предел. Об этом вам прекрасно известно, и если я говорю это, говорю потому, чтобы не забывали, да, не забывали бы, а то из ваших рассуждений получается, что вы не раз еще ошибетесь и перевалите вину на поэзию, поэзия, дескать, нами распоряжается, мы, дескать, в ее власти, против ее воли не пойдешь. Пустое это все — маскировка или лазейка, не правда ли? Нет, дорогой мой, так не пойдет. Кроме того, от ваших слов веет ветром идеализма. Этого тоже никто не простит, мы, во всяком случае, не простим, поверьте, не простим. Вы зря поняли преобразование так, будто в вашем существе должны произойти какие-то поразительные процессы, — нет, не так вы поняли, и не надо нас уверять, что поняли. Нет, дорогой мой, никто от вас не требует внутренних сдвигов, только выбросьте из головы эти какие-то теории о шаири и вложите в стих требования времени, именно «индустриализацию» посадите в стих, следуйте новому и воспевайте новое, воспевайте и заставьте запеть, пойти за собой народ. Нам предстоит осушить болота, и это должно зазвучать в вашей поэзии, по пустыням проложим каналы — воспевайте плеск воды в пустыне, заселим полюс людьми — воспевайте поселившихся на полюсе, воспевайте, подбадривайте, преисполняйте верой, доверием, увлекайте и следуйте за нами. Это ваше призвание, это ваша поэзия; раздробите шаири, если мешает, дробите слово и негодные размеры, расширяйте, раздвигайте горизонты как можно шире, как можно дальше,

не довольствуйтесь одной землей, прошествуйте по планетам, — вот что есть истинная поэзия, вот что есть вдохновение... Не согласны? Поймите, стойте, я, кажется, не досказал своей мысли, или досказал, как бы там ни было, не ограничивайтесь ничем, специфичное, своеобразное, наше традиционное или что-то в этом же роде мешает, избавьтесь от всего этого, отвернитесь от прошлого, смотрите вперед, смотрите, какие горизонты, какой взлет!... Вот она — поэзия. Время, время засекайте, — вот вам поэзия, вот вам поэт, время есть все, поэзия — подсказка времени, и мы должны улавливать эту подсказку, ничего больше, не надо преувеличивать: божественного не существует, ибо нет бога; поэзия, следовательно, не божественна, прислушивайтесь к зову времени, требованию времени. Простите, если мои слова вам не по душе, вы сами меня вызвали на разговор, но тем не менее простите, а так — я все же признаюсь, вы хорошо читаете стихотворения, умеете захватить слушателя, но новые стихи, стихи, посвященные времени, принесли бы вам большую известность, большую славу.

— Благодарю, — растерянно ответил поэт.

— Не стоит благодарности, не обижайтесь, ничего не поделаешь, такие уж мы, говорим то, что думаем, напрямик, — Серги Доблиани улыбнулся — будто снова потекла чернота или темно-синяя краска по его бритому лицу.

— Слова не убивают, — улыбнулся поэт.

— Мы умеем подкреплять их делом, — пожал плечами Серги Доблиани.

— Время требует дела, — подсказал поэт.

— Дела, сообразного времени, — уточнил Серги Доблиани.

— Только не перекладывайте всю вину на плечи времени, и в начало начал не пытайтесь его превратить, — попросил поэт.

— Время — реальность, а не некий незримый источник, время — воля народа, народ — воля времени, — ответил Серги Доблиани.

— Народ, народ! — воскликнул поэт патетически.
— Вы опьянели!.. — Серги искоса взглянул на него.

— Я не пил ни капли... Я вообще не пью.

— Это меня и удивляет!..

— Меня уже нет, — усмехнулся поэт, — со мной что-то происходит в последнее время: ни с того ни с сего начинаю походить на пьяного.

— Что вы говорите? — усомнился Серги.

— Вот, хотя бы сейчас...

— К врачу обращались?

— Нет.

— Обратитесь.

— Благодарю вас.

— Вот профессор... — указал Серги.

— Я его знаю, наведуясь в Тбилиси.

— Дело ваше.

— Может, обойдется.

— Возможно.

— Такое уже случилось со мной однажды. На улице сцепился с Канкарадзе, критик, знаете, наверное. Ха-ха-ха... меня отправили в вытрезвитель.

— Ха-ха-ха... Если и сейчас...

— О, что вы, что вы!.. — поэт замахал руками. — Я ведь с вами согласен, извольте говорить истину, и я с вами согласен. И все-таки каким-то странным образом я оказался в центре внутренней борьбы — борьбы с самим собой, странным образом, и странная это борьба — она во мне, и я в ней; сложное бытие, необъяснимое и неразгадываемое. Тем не менее я согласен с вами, разумеется, сейчас согласен, согласен лишь в том, что мне казалось несколько более сложным, чего я не мог отвергнуть сразу, одним духом. Поэзия есть поэзия, невозможно объяснить, что такое сложность, многообразие, многоликость, она одна и ее множество, одно и множество, множество одного и единство множества, так оно и есть, так оно и есть, ну и что же она, поэзия, что же она? Растеряешься, как тут не растеряться? Я говорю о себе, разумеется, я растерялся, запутался, погряз.

Мне надо было помочь, естественно, чтобы спастись, нужен спаситель, поводырь нужен, чтобы вывести погруженного во мрак на дневной свет. Мы все в той или иной мере похожи на Бараташвили, либо похожи, либо подражаем, или жаждем бури напряженных страстей, ищем ее, коли в нас нет, ищем и, если не находим, растягиваем, растягиваем, раздуваем мелкие страстишки, раздуваем, преувеличиваем, изображаем, как нечто уготованное нам на вечные муки, и становимся похожими на Бараташвили в большей или меньшей степени, разумеется. Это нам мешает, мне это мешало. Сейчас мне кажется, поднимусь и расстелюсь как туман, когда взойдет солнце и засверкает все вокруг. Встанем там, где буря, — кликнул клич Галактион, легко кликнул клич, ему все легко удастся, даже развитие тяжелой индустрии легко уместил в строку, неуклюже, но легко, ибо все ему простится, простится, потому и легко удастся, ну а кому не простится — и не удастся так запросто. Неодолимого нет, мы не должны пугаться, сегодня мне лично это ясно. Надо верить, не надо пугаться, и тогда рассеются прозрачные поэтические туманности, бредовые, формалистические теории искусства, рассеются, и народится поэзия, новая поэзия. Я и раньше должен был это понять, но, видно, необходима была встряска — поэт есть поэт, вы согласитесь со мной, милостивый государь мой, поэта надо встряхивать как можно сильнее. Мне нужен был вечер, подобный сегодняшнему, он стал отправной точкой моего поворота к новому, и я буду считать себя вашим должником, если, конечно, чего-то добьюсь. Благодарю вас, милостивый государь мой, заранее благодарен.

Поэт и в самом деле был похож на пьяного, глаза его горели от возбуждения, руки летали по воздуху, слова выскакивали одно за другим. А ведь он не пил, и никто не стал бы его принуждать.

Тамада входил во вкус, входили во вкус и его помощники, заставляли пить тех, кто пил с ними, с самого начала поддерживая компанию. Заставляли или сдер-

жанно, учтиво напоминали, напоминали — и уже не отвертеться тем, кто не поддержал с самого начала, милостиво кивали головой, разрешаем, дескать, как вам будет угодно.

Кому как было угодно, так себя и вел — поэт не пил и не ел, если говорил, то говорил, а нет — так он и помолчать мог, затеряться в своих мыслях, забыть.

Ушел бы в себя, и никто бы его не побеспокоил. Серги уже не станет его слушать — он свое сказал, выслушал и глазом не моргнул, ни один мускул не дрогнул на его лице.

Он тоже не пил, Серги, но тосты поддерживал, поднимал стакан, говорил пару слов, умеренно, прямо, никого не озадачивая, есть ел, не пропускал чудесных закусок, когда их обносили вокруг стола, не обижал подающих закуски, еще и потому ему было не до поэта, он оставил его, покинул — ко всему, супруга потребовала внимания, он приехал нынешним вечером; и другие требовали внимания, близкие и просто знакомые, давнишние и недавние. За поэта взялся кто-то другой, и они с Серги потеряли друг друга, рядом сидели, а потеряли, так оно и должно было быть, тамада входил во вкус и помощники тамады, все застолье входило во вкус, во вкус пира, во вкус песни, гремело «Мравалжамизэр», подбадривая, развеивая грусть.

И купол подхватывал песню, можно было подумать, два хора в зале соревнуются друг с другом. И наслаждался Зураб Квацихели, наслаждался куполом; неважно, где он сидел, не имело значения, вспомнят его — так вспомнят, а не вспомнят и не надо, он весь ушел в песню, ушел и наслаждался.

Потом купол подхватил «Картули»*, подхватил, закрутил в вихре танца, пол посыпали мукой, и пошел по заснеженному полу танцор на полупальцах, обошел, облетел зал, и вычертили пальцы—«Слава Грузии!»! Купол вторил и танец звучал, словно гимн, торжественный

* Народный танец.

гимн. Быть может, это и на самом деле был древнейший гимн, грузинский гимн, сохранившийся в виде танцевальной мелодии, перепрятанный, укрытый и спасенный, пронесенный сквозь канувшие в Лету гимны, навязанные гимны, кто знает, кто ведает, во всяком случае купол подхватывал, уносил вверх и возвращал гимном, обрушивал...

Обрушивал, и все неслись, почти все неслись в танце. Один плыл, другой делал прыжок, третий кружился, один искал, искал, и ветер мчался, следовал за ним, и он искал — и вдруг пригласил Эли. Свирель подбодрилась, подбодрился доли, дружней захлопали в ладоши, и стал вырисовываться прекрасный танец, истинно прекрасный, несравненный. Все были очарованы, не описать как очарованы. Но стихли аплодисменты, стихли, понизил голос доли, почелкивая слегка, одна лишь свирель продолжала ворковать.

Поэт не мог больше сидеть на своем месте, вышел вперед, когда кончился танец, схватил обоих танцоров, понятно, поздравил их и похвалил, один раз и десять раз, десять раз и сто раз, хвалил так увлеченно, немножко даже растерянно, уже думали, что он пьян, хотели уйти, да не могли.

— Спасибо, — в который раз пробурчал мужчина и в который раз попытался уйти.

— Нет, это я вам благодарен! — в который уже раз поэт схватил его за руку.

— Спасибо, — прошептала женщина.

— Нет, — и к ней пристал поэт, трезвый поэт, точно пьяный, пристал, — нет, это я, я вам благодарен.

— Пусть так, — ответила женщина, — только, хоть вы и волшебник слова, не думайте, что кто-то не поймет ваших насмешек.

— И не подумаю, — заторопился поэт, — такая ясновидица, как вы...

— Я не о себе...

— А?! А что я такого сказал?..

— Верьте, он понял и не простит.

— Вы меня спасете.

— Вы так думаете?

— Верю, как в богиню.

— А кто спасет бедную богиню?

— Господи! Я верю.

— Сегодня вы кажетесь таким смелым...

— Поэтому надо быть смелым.

— Боже упаси, — произносит она, произносит как бы со страхом, произносит и направляется к мужу, поэт ее провожает, поэт, источая комплименты, прощается с ней, но ненадолго, супруга сядет по правую руку мужа — по левую присядет поэт, а что касается беседы — кто-нибудь другой вовлечет его в беседу, поэта, ясно.

Поэт словно не замечал его раньше, — лицо осунулось, шея вытянулась, плечи приподнялись, как свойственно маленькому человеку, жаждущему величия и телом и духом; замечал или не замечал, именно он пристал к поэту — давайте, мол, держать пари, отыскал кость от куриной грудки и пристал в одну душу: давайте держать пари, мы только познакомились с вами, бог весть, когда еще встретимся, и тот, кто при встрече поздороваётся первым, кто тотчас же узнает другого, тот и выиграет, давайте проверим, насколько остер глаз у поэта. Давайте, поддался поэт, легко поддался, и кость переломил, и руку ему пожал. Проигравший пускай накрывает стол на десять персон; извольте, глаз поэта совершенно особый, я, конечно же, выиграю, у меня особый глаз, глаз ученого иной, и глаз музыканта иной, и врача иной, у инженера иной, агрономов и прочих я уж перечислять не стану, у крестьянина свой особый глаз, у разведчика свой, у ремесленника совершенно особый, сколько существует ремесел, столько и глаз, каждый видит свое, каждый различает свое, а поэт видит всех, ничего от него не ускользнет, ничего он не спутает, в едином он видит множество и во множестве находит свое, увиденного однажды не забывает, если даже мир перевернется, что еще вам сказать или посоветовать, вы уж прямо сейчас откладываете деньги на десять человек, имею в виду ресторан на Мтацминда.

— Есть, отложить!.. — поднял руку предложивший пари.

И поэт стал подбирать людей — кандидатов в ресторан, подбирал и согласовывал с ним, из поэтов буду я один, поэта, одного поэта вполне достаточно, другие поэты пускай веселятся с другими; посидим, поедим как следует, повеселимся. Здесь стол был уже накрыт, теперь он уже о другом застолье заботился, ему было уже не до Серги, впрочем и Серги было не до него.—«С кем ты танцевала?»—спрашивал он Эли.

Эли не знала. Обвела взглядом ряды сидящих за столом, она бы легко его узнала, когда бы увидела, — он был представителем, со строгими чертами аскетического лица, в куладже кизилового цвета — уже по одному этому легко можно было его узнать, разве же носили теперь куладжу или что-нибудь грузинское — только танцоры или певцы, и то на сцене, и еще один романист одевался в национальную одежду — черную чоху, бывало, пройдется по Руставели и обратно, он и на таких торжествах показывался в черной чохе, в этот раз его здесь не было — словом, узнала бы Эли своего партнера по танцу, только вот не сумела увидеть. Она знала почти всех, по крайней мере издали знакома была с избранным тбилисским обществом. Хотя слово «избранный» и устарело, устарело или обесценилось или же покорилось «уравнению» везде и во всем, особенно в обществе — разве только годы отличали людей друг от друга, разве только возраст отличал или привезенная из Парижа или Мюнхена одежда, одежда, которая там давно вышла из моды, одежда, которую бы и здесь сняли и позабыли вместе с модой, если бы могли сменить ее. Как бы там ни было, выделялась грузинская куладжа, да еще кизилового цвета, цвета спелого кизила, бросалась в глаза, но куда там, когда вообще никого в куладже. Эли собралась сказать, что не знает, не знакома с ним, но только собралась, тут же и раздумала, лишь взглянула на супруга так, будто и не слышала, будто и желания у нее никакого не было танцевать, станцевала и баста, выполнила долг, исполнила свой «номер», можно сказать, согласно про-

Отар Чхеидзе. Лабиринты ущелья.

грамме, исполнила и теперь не прочь отдохнуть. Но от вопроса мужа уйти оказалось не так просто, пришлось обернуться, обернулась, попыталась объяснить; верно был из какого-нибудь ансамбля, он удивительно хорошо танцевал, видно, опытный танцор, или природа одарила, наделила ловкостью, гибкостью, раскованностью в движениях, скорее всего так — опыт навряд ли значительней природы. И так быстро он увлек ее, словно ураган, подхватил, подхватил и завертел, озарил, осветил, поднял высоко, очень высоко, такой высоты человек еще не достигал, ураган вознес Эли на недосягаемую высоту, где верно один господь бог обитал со своими талантами, внизу казался маленьким-премаленьким весь этот стол, накрытый в девять рядов, с сидящими за ним людьми — маленькими, малюсенькими, крохотными людьми с крошечными глазами, от зависти ли, от восторга ли, словом, одинаково маленькими. А вот то, то было сияние, то было вознесение!

Так ей казалось, или так она увидела — крошка встала (встал Серги), но когда он вернулся, сел рядом, уже не казался крохой, тот же здоровый мужчина, и он проговорил ей тем же густым басом или шепотом, эдаким густым шепотом:

— Дон Педро-Пьетро-Петре Колченогий... Он твой танцор?!

— Что ты сказал?! — у Эли, казалось, вот-вот глаза выскочат из орбит.

— Повторить? — от него пахло табаком.

— Нет, нет!

— Ты не ответила.

— А кто тебе сказал?

— Сказали...

— Пошутили, значит...

— Не так-то просто шутить со мной, — криво усмехнулся Серги.

— Да, но ведь это невозможно.

— Ничего невозможного.

— Он ведь калека и обездоленный человек.

— По нему не скажешь.

— Но ведь это издевательство! Ты еще не знаешь, ведь он пастух... Они — он и его жена —

привозят молоко, сыр и масло на рынок, я видела его, потому и говорю. Постой, постой, скажу тебе все. Лучшего молока и мацони никто не привозит, никто, их масло и сыр славятся, из Боржоми сюда поднимаются, а из Бакуриани и подавно, тут их ждут. Они и дешево продают. Сам он даже не остается на базаре, поставит арбу и уходит, женщина продает... она тоже уродка. Но мы привыкли, не такой уже кажется уродкой. Честно взвешивает, честно наливает, всегда чуть больше отвесит, и нам бывает приятно, ясно. При этом у них все такое чистое, вкусное, можно подумать, что они из другой совершенно страны, из страны получше нашей. К другим нас и не тянет. А эти, стоит им опоздать, — мы волнуемся, покажутся — и мы шумим, словно на церковном празднике, каждое их появление — праздник, и дети прыгают, бегают за нами, бегут, и мы бежим с кастрюлями, с банками, бидонами, и раздаются лязг, звон, стук, приветствия, мы целуемся с ними, а когда они слишком опаздывают, целуемся с той уродливой женщиной, уродливой и несчастной, но ведь она уже не кажется нам уродкой, ведь мы и не посмеем ее пожалеть, что ты! — для нас она добрый ангел, ангел-хранитель. Мужчина только покажется — и все, уйдет, даже не оглянется, и мы не смотрим на него, какой-то пастух в лохмотьях, обросший, с вывернутым бедром, и рука у него так скривилась, не поймешь, это палка-погонялка или плеть, как-то он ее держит вывороченной, жалко на него смотреть и только, жалко. Деревенские люди безжалостны, прозвище такое ему дали, смех сдержать трудно...

— Ладно, верю, — говорит Серги и куда-то смотрит на людей или поверх людей.

— Ты все-таки взгляни на него.

— До него ли сейчас... — отрезал Серги с видом человека, которому до смерти надоел нескончаемый разговор о молоке, масле и уродстве. Эли умолкла, почувствовала усталость, а застолье плыло по пьяному руслу, власть уходила из рук тамады, он несколько разволновался, рассердился и помощников своих

распек, соблюдайте, мол, порядок и правила, они и соблюдали, собирали людей вокруг группами, пили и расходились. Поэт, в свою очередь, тоже завладел группой, тамаде он не подчинялся, не повиновался и его помощнику, все стихи читал, его слушали, и он радовался, разводил руками, бил себя кулаками в грудь, когда подходили к концу собственные стихи, или, если даже много еще было в запасе, обращался к Важа Пшавела, читал и Гурамишвили, и до Микела Модрекили дотащился. Застолье плыло по волнам пьянства, стол покачивался, стол пошатывался. Эли уже не хотелось оставаться.

— Ты останешься? — спросила она мужа.

— Тебя жду.

— Тогда пойдем.

И вышли незаметно.

Она ушла незаметно, но не так уж, чтобы не заметил Зураб, он заметил, не понравилось — раз взялась быть царицей вечера, так оставайся до конца.

III.

САМ он оставался до конца, никак не мог уйти. Сперва походил в одиночестве по залу, потом вышел во двор, обошел свое детище несколько раз, по-прежнему в одиночестве, наедине со своими мыслями и чувствами. Он уже ничего другого не сделал бы для своей деревни, ничего другого не смог бы сделать. И смотрел он на свою последнюю силу, иссякшую, исчерпанную силу, словно и впрямь лишился плоти, вместе с жилами и кровью, словно стал скелетом, что в старину высекали на надгробных камнях или сейчас малюют, предупреждая о высоком напряжении, как бы там ни было, то есть лишился ли он плоти или сохранил и плоть и цвет, он не утратил бодрости, он как-то был озарен, освещен своим творением, своим залом. И светился тот зал, свет полной луны освещал его и светились: луна от солнца, зал от луны, Зураб от зала. Был свет, и свет лился на Зураба, как благодарность, как награда за содеянное, и он был напуган и пристыжен, ибо трудился отнюдь не ради награды, отнюдь не ради благодарности, не ждал их, а если и

ждал, ждал, что все же снизойдет на него божья благодать, добро божье снизойдет, и Зураб склонился перед светом и добром.

Много он мечтал в юности, как это свойственно юности—носился по камням Квацихуры, носился или уединялся, бегал по лесам и лугам Квацихе, мечтал и мечтал, мечтал много, а мало что сохранил. Долгой казалась ему жизнь, вот и обернулась она короткой, легкой казалась ему жизнь — и сделалась она трудной, сложной; добро казалось сильным — оказалось немощным, зло казалось временным, преходящим и слабым, казалось постыдным, и люди, если им указывали, тотчас от него избавлялись, убегали, отмежевались, — так он думал по молодости, стоял на голове, а думал, что стоит на ногах основательно, прочно, и он плавал по поверхности волн мечты, и этот зал плыл по поверхности волн, плыл и плыл, скрывался в воде и появлялся вновь, подплывал, едва ли не через сердце его переплывал. Он и другое задумал и для другого трудился, это удалось пораньше: Зураб открыл источник, равный боржомскому, открыл в лесу и к деревне подвел, там же разбил аллею для прогулок, и лампы развесил по аллее, и маленькие турбины поставил на Квацихуре, ночами лампы светились; Квацихе светилось, осветил Зураб маленькую деревушку, днем и лесопилке хватало электроэнергии. Когда удалось сделать это, окрылилась его мечта, и надежда окрылилась, мигом окрылилась, и так же быстро померкло все. Жизнь запуталась, запутался или сменился установленный порядок, не слегка, не незначительно—ощутимо, зримо, ушел куда-то в другую сторону, куда-то далеко, но и до Квацихе добрался и, ничего не поделаешь, здесь тоже грянула буря, поднявшаяся далеко, грянула и пронеслась над деревушкой, сорвалась, завертелась, завывала, повредила родник, содрала лампы, разбила вдребезги, разнесла лесопильню, искромсала динамо, разбросала по кускам, вырвала крест из купола церкви, сорвала колокол, вывернула тяжелую церковную дверь, и скрипела дверь, скрипела, скрипела, и дул ветер, и тоже скрипел и выл, пронзительно, душе-раздирающе. Потом буря словно перевела дух, и

он снова взялся за родник, сперва за родник, потом за аллею, и миниатюрную электростанцию, и лесопильню, а за церковь не мог взяться, ясно,—не он ее строил и присмотреть за ней не сумел бы, и крест установить не сумел бы, разве только дверь закрепил и закрыл, не скрипела она больше, не холодила по ночам кровь. Сам он местом лесничего довольствовался, человек, получивший образование за границей, истинный исследователь, непреклонный и надежный, тесными казались ему лаборатории и большие поместья; всюду, куда бы его ни приглашали, мнилась ему теснота, и он отказывался, самому Ивану отказал на предложение работать в университете, и основателям сельскохозяйственного института отказал, словно впился в Квачихе всем своим существом, там он нашел для себя арену, место для применения своих недюжинных способностей и сил; чаял устроить здесь большой курорт, мирового значения грузинский курорт, вне всякой эклектики грузинский курорт, славящийся в мире как грузинский; большой зал, собственно, ради этого и был задуман — олицетворение храма грузинской культуры, храма грузинского искусства. Это и было его юношеской мечтой, и с нею проходил он до преклонного возраста. Но вот пронеслась буря, буря и буря, ничего особенного, но именно она потрясла, как только Зураб подумал, что не зря она пронеслась...

Не жить мечте или стараниям человека-одиночки, не удастся одиночке ничего, его слово не имеет силы, ну а средства? Уже ни у кого не было средств, нет, не было. А дальше? Дальше все-таки удалось выкроить маленький зал, не таких, ясно, размеров, что маячил в мечтах, но какой ни есть удалось выстроить, хотя и маленький, но поющий зал. Он, правда, улучил момент, подобрал, и надежда его подхлестывала, и потрудиться пришлось вдоволь, ну и что же, — ведь перенес он, ведь своего добился — и выпрямился гордо.

И смеется он в одиночестве, при свете луны. За-молчит, а смех как будто не прекращается, может, сама луна смеется, или сосны хихикают, или, может, Квачихура рассказывает что-то смешное, или все с ним заодно, и горы, и доли, и река, и деревня, почему бы и нет, ведь все это одинаково принадлежит и ему, и людям, и природе, не отобрано у природы ничего,

принадлежащее ей осталось ей же, многого не осталось, оторвалось от природы, безвременно от жизни оторвалось, — это осталось. И если она смеется, природа, если земля смеется вместе с луной — так пусть смеется, смеется, ведь неувязка, нелепость получается, когда смеется один — недолго и за сумасшедшего принять, пускай смеется, пускай, ведь иногда и она плачет — нынче же ей хочется смеяться: сверкает водопад Квацихуры, сверкает, играет, искрится, льется в лунную ночь; хорош смех природы, и туман от природы хорош, хорошо все, что от природы, что не от природы — не годится.

И зависть до него не дотянулась, он ушел, замкнулся в себе и избежал людской зависти. О его нескольких книжках, что издал в молодости, или же о разбросанных по газетам нескольких статьях не то что никто, и тогдашние его противники не помнили — говорят, забвенью зависть не знакома. Не вызвал он зависти и там, в Квачихе, состоянием не отличался, происхождение — это ничего, состоянием не отличался, и с семьей не повезло, умерли и жена, и сын, обзаводиться новой семьей он не думал, здесь, в лесах и зарослях кустарника, он убил свою печаль или боль, а если и не сумел убить, так хоть отдышался. Лесу бы отдал все свои силы, заполнил бы расщелины, одел нищие, ободренные склоны гор, он бы и скалы нарядил в зелень, если не удалось бы насадить деревья и кусты, сн мох, по крайней мере, развел бы, только не были бы они нагими, только бы не было вокруг наготы, он сам подбирал деревья на стройматериал или на дрова соседям и близким, и дальним, лишь бы они приносили билет, лишь бы сами не брались, не валяли здоровые деревья, — сам подбирал, привозил из самых недоступных мест, лично привозил, знал, где что свалилось, у какого дерева какая болезнь появилась, какой червь его грыз, находил, выносил, отыскивал червя дерева, червя природы, и недуг мысли тоже отыскивал, вывозилось червивое дерево, червивая мысль не вывозилась, разбухла, разрасталась, разрасталась до бесконечности; лес был светлее, в лесу все было ясно, и он стал принадле-

жать лесу, ушел подальше от зависти, подальше от зла, подальше от недужной мысли. И тем не менее он невольно обидел квацихцев, когда пришел приказ об объединении, он первым пригнал скотину, отказался и от хлеба, не обидевшись и не удивившись, как ни в чем не бывало, этим он их и обидел, только не навсегда и не надолго — вскоре и они пригнали скотину, объединились. Я уж не стану рассказывать, как и каким образом, тут и другое всплывет, за другим — третье и не выбраться нам, — не стану рассказывать, не к чему, вернусь к тому, с чего начал.

Лес был вокруг него, и зал светился в лесу.

Ему не надоедало, не приедалось, не мог он покинуть все это.

Бодрость брала верх, бодрость старика, что порой равна, а то и превосходит молодую бодрость.

Потом луна начинала склоняться, луна заходила, темнело; не раз темнело, не раз видел он эти места, погруженные во мглу, без зала, ясно, теперь и зал погружится во мглу, увязнет, а ему отнюдь не хотелось этого, он предпочитал видеть его сверкающим, блестящим, светлым в светлом лесу, предпочитал и таким оставил его, ушел со светом, унес с собой свет, лунный свет унес, и в доме его встретил свет, возможно лунный, не очень выделялся его дом среди остальных квацихских деревянных жилищ, нисколько не выделялся, потому что сам хозяин не выделялся ничем среди своих соседей, и луна так же смотрела на других квацихцев, так же, как и на него, но вот тень навряд ли кто встретил в своем подворье. Тень спускалась по лестнице зурабиного дома, торопилась навстречу, вырисовывалась четко, верно, приноровилась к ритму шагов, или доли, танцевальному ритму, спускалась, пританцовывая, скользила на цыпочках или вовсе на пальцах, все равно, только покатым был двор Зураба, как и дворы других квацихцев или других горцев: она скользила, радостно его встречала, несколько медлил Зураб, ему было приятно, что так вольно скользила тень, его удивляло, что она сохранила свою привлекательность, и в то же время он трепетал, трепетал... и отчего же?—от некой злости, неясной злости сердце забилося, мысли, что до того таились в душе, вдруг замутились, мысли, которые унимала радость от

выстроенного зала, если бы и всплыл вдруг этот трепет или недоброе предчувствие, всплыли, прошли бы все равно, или пускай бы оставались, покачивались, как на поверхности воды; все равно не смогут они затушевать праздничную приподнятость, так быстро не сумеют ее одолеть, не сумеют охладить, одним словом, тень скользнула, как будто поскользнулась даже, понеслась вниз, казалось, вот-вот налетит и опрокинет Зураба, так казалось, так казалось в лунную ночь; но нет, тень неожиданно остановилась, остановилась резко, остановилась так, вплотную, разве что только ветру удалось бы пройти между ними, Зурабом и тенью, тенью, я говорю, что слегка покачивалась, вытягивалась, вырисовывалась, обозначалась. Они недолго оставались во дворе, тень и Зураб, поднялись на балкон, и луна опустилась на балкон, по небу рассыпались звезды, кто-то незримый рассыпал их пригоршнями, и в их сиянии тенью вырисовывался Зураб, тень ведь и без того выглядела тенью, Зураб тоже стал походить на нее.

Они не смогли бы сидеть так, проглотив языки, в конце концов заговорили бы, первым заговорил бы Зураб, как старший, у них по крайней мере не нарушался порядок, и он заговорил:

— А сейчас что собираешься делать? — он взглядом проводил прячущуюся луну, если и там прошел человек, если и на луну ступил ногой, что же здесь будет, хотелось бы знать.

— Откуда я знаю, — разве что тень ответила бы, ведь луна и та ушла.

— Кому какой прок от невежества?

— Никому никакого прока.

— Ну и?..

— Не знаю, тем не менее не знаю.

— А если бы ты немножко переждал?

— Для чего же?

— Может, еще раз обойдут виновных и невиновных...

— А перенесли бы?

— Как знать! Попытка не пытка.

— Коли не судьба, и попытка окажется тщет-

ной. Что это я говорю!.. Не могу больше, терпение иссякло.

— Да... Если иссякло...

— Иссякло...

— Что же, именно сегодня иссякло? И что его принесло именно сегодня?

— Ты про Серги?

— Про Серги... как его, Бахчо, что ли...

— Не Бахчо, так пришел бы другой, не сегодня, так завтра, какая разница, я о пропавших годах сожалею, о бессмысленно прожитых годах, — он говорил, впрочем, без чувства сожаления, просто отмечал факты.

— Жизнь есть жизнь, бессмысленной ее не назовешь, какова бы она ни была, — заметил Зураб.

— Не всякая жизнь есть жизнь.

— Всякая.

— Нет.

— И тем не менее... Не пристало тебе грустить, слезы лить, бесполезно слезы лить, а? Не минует неминуемое, непреложно оно, а?

— Что касается слез...

— Я и не замечал, но не мешает лишний раз вспомнить мудрые слова.

— Это тоже мудрость — лучше умереть однажды. От тебя слышал, в детстве, не сейчас, уже не повторяешься, к иной мудрости обратился. И от других не слышал я этого, или, может, уже не так часто сталкиваюсь с людьми, или, может, ржавчиной покрылось старое слово, или, может, жизнь стала настолько сладкой, или, может, человеческие ощущения так притупились, что люди уже не чувствуют горечи.

— Надо выдержать!

— Надо принести себя в жертву, вовремя принести себя в жертву, а то потом все одно самооправдание, оправдание трусости. Ведь и это надо выдержать?

Зураб: Что тебе ответить?

Тень: Ничего, что ты мне можешь ответить? Вижу тебя и... и хочу сказать, что ты меня поразил. Я думать не думал, что ты будешь танцевать...

— Ах, а я-то думал... Но что удивительного, я ведь столько танцевал... как-нибудь да получилось бы...

— А если что-то еще у тебя получится?

Зураб: Нет уж, конечно, я израсходовал последние силы. Нынче силы нашлись разве только на то, чтобы избежать ожидания. И конечно, все конечно, баста!

— Может, мы все-таки найдем путь.

— Это и есть путь.

— Какой же это путь?

— Такой уж мне выпал.

— Постой, постой, как бы там ни было, то — поэзия, а это — жизнь, жизнь легче поэзии.

— Или наоборот?

— Постой, говорю... Ведь и ты соучастник моего труда, ведь и твое здоровье ушло на этот зал?

— Немножко, и это помогло мне выдержать.

— Это и есть жизнь, все остальное — поэзия.

— Кончилось и это, что было, кончилось, и не будем спорить, дядя, тебе не удастся меня утешить, дядя, не удастся, я знаю, сколь бессмысленна моя жизнь, все остальное — переливание из пустого в порожнее, не надо больше переливать из пустого в порожнее и спорить.

Зураб: Разве мы спорим?

Тень: Говорим как-то на разных языках, когда мы дети одной горечи.

И вновь колышется тень, встает, встает и ходит, ходит взад-вперед по балкону, шуршит доска под ногами, шуршит, шипит, визжит, скрипит, иногда все это сливается в один звук, и уже трудно разграничить слившиеся звуки, одно только можно различить: все громче и громче становится тот совместный объединенный голос, словно и ветерок его поддерживает, словно и ветер поднимается на балконе, только на балконе, — тень носится и кажется ветром. Зураб ждет, или отдался своим мыслям или ждет — быть может, снова присядет рядом. Тень не присаживается.

— И все же ты должен со мной согласиться,— говорит Зураб.

— Чтобы не обидеть тебя?

— Нет, потому что прав я, а не ты.

— Мы дети одной горечи, говорю.

— Брось. Существует то, что существует сегодня, в эту минуту, то, что есть сейчас Зал...

— Есть...

— В этом и твоя заслуга.

— Ты ведь уж сказал?

— Не до конца. И твои плечи перетаскивали огромные бревна...

— Отчего же до сих пор не изгрызла их земля, коли они созданы только для перетаскивания бревен?

— Не даешь договорить?! В том зале мы услышим много доброго, вот увидишь.

— Я не увижу. Мне приснился сон, сон Арсена, я бороду красил кровью: ведь нынче мне не спастись, как бы там ни решилось, или татарин меня продаст, или грузин не спасет, не доживу до пасхи, не возьму в руки красное яйцо и «если силой меня не убьют, сам себе перережу горло»... хорошо, правда?

— Поэзия. Жизнь проще, я и говорю, — Зураб сам не верил своим словам, он исчерпал слова, представляя исполнение жестокого намерения, спокойное, осмысленное самоубийство, и холод пронизывал все его существо, дрожь пробирала от сознания, что он не в силах ничего изменить, равным счетом ничего. До этого удавалось отвлечь его от тяжелых мыслей строительством зала, оказалось, лишь до этого вечера, только до этого вечера удалось отвлечь. Не все могли довольствоваться одним лесом, хозяйничать в лесу, жить лесом, не все могли, он был рожден для иного поединка, для иного кипения, для иной борьбы был рожден, и разве только наказание могло обречь его на одиночество, отшельничество, присудить ему изгнание в лес, — присудили или не присудили, он, тем не менее, нес наказание, был наказан, и довольно, он бы больше не выдержал, и не выдержал и вырвался из леса, и вот, вырвался — и конец, ничего не заставило бы его вернуться, отбился от рук — и кончено дело! Знал

Зураб, потому и пробирал его холод, не предрас-светный холод или лесной, какой-то особый холод пробирал его, как-то по-иному содрогалось сердце, и, верно, потому иссякли слова. И он тоже это знал, явившийся тенью. Неспроста вспомнил стихотворение Арсена: он выпал, выпал из общего хоровода и знал, понятно, что выпал из общества, уже не находил там места для себя: и лесным жителем становиться было не под силу, и звучал стих Арсена, сам по себе звучал: «если силой меня не убьет никто — сам себе перережу горло!» — выговаривала тень, словно напевала. Страсти уже не владели им: ни страха, ни смелости, ни желания показать себя, нет, ничего подобного, все воспринималось как определенное свыше, воспринималось, как воспринимает мудрец, как человек, которому надоела жизнь, нелепая, негодная; люди с таким порывом от своих слов не отказываются и ничего уже не ждут, ничего их не может взволновать, они не поддаются чувству сожаления, им ничего не стоит запеть: «если силой меня не убьет никто, я сам себе перережу горло», когда и как, разве можно спрашивать об этом, может, уже сейчас, вот так напевая, не станет ждать, пока взойдет солнце, а может, сразу как только оно взойдет, взглянуть на него лишь раз, еще раз взглянуть на него — и навечно проститься, беда настигла, если смерть стала такой легкой, значит, беда, ничего больше, ничего больше, все остальное — жизнь, трудная или легкая — жизнь, но ничего, ничего, и это ничего!

Хоть бы впрямь это была тень, встал бы среди ночи, взглянул на мир, еще раз взглянул, пришел бы и ушел, но вот меркнут звезды, уже и рассвет подошел, а этот отнюдь не торопится, страх перед рассветом не охватывает его, разве что солнца ждет, звучнее, красивее забурлит кровь на солнце, или бог весть о чем он думает, может, и не думает, ведь приговор у него в руках, у него в руках, и он спокойно ждет: если силой не убьет никто, сам себе горло перережет. И трепещет Зураб (а как радовался!)... трепещет, трепещет.

IV.

ПОТОМ, хотя и на самую малость, он избавился от этого трепета...

Рассвет сделал свое, спугнул тень, впрямь спугнул, следа крови нигде не было видно, ни капли крови не было нигде. Радостный рассвет наступил в Квацixe, полном гостей. И расходились гости, прободрствовав ночь, успели утром и поесть, и выпить, успели еще раз благословить зал и еще раз десять, там же собирались и расходились, испытывая блаженство и сожаление, расходились в надежде еще раз погостить, в надежде на будущие торжества. И сыпались звучные слова, сопровождаемые смехом, звонким смехом, царила радость, царила радость вокруг зала. Уходили из радости, уходили с радостью, прощались с хором женщин, с хором Эли, с распорядителями праздника, прощались и расходились, прощался и он, прославленный, несравненный историк, великий исследователь, страстный исследователь судьбы Картли, так безмятежно прощался, словно ничего его не беспокоило и не будет беспокоить, он так и не произнес ни единого слова, слегка приподнял опущенную голову, всегда опущенную в раздумье, слегка шевельнул чуть выпяченными губами, словно постоянно бормотавшими о бедах Картли, бормотавшими с болью в сердце и все возрастающей надеждой, приподнял голову, шевельнул губами, выразил тем самым свою благодарность и пожелания успеха, однако что приедет вновь — этого он не сказал. Но Эли была начеку:

— Вы больше не посетите нас, уважаемый профессор? — Эли взволнованно подалась вперед, казалось, схватит его и уже не отпустит.

— Не думаю, — ответил он, словно откликнулся откуда-то издалека, из древних веков.

— Как обидно! — Эли сникла. — У нас будут вечера куда лучше... Мы и на Цхрацкаро поднимемся!

— Великолепно.

— Так вы приедете?

— Не могу, ничего не поделаешь... Я и в Боржоми не могу более задерживаться...

— Но ведь врачи советуют?

— Дело не советует. Бог весть, что сулят раскопки Самтавро.

И он мысленно уже был там, в раскопанных могильниках, стоял у саркофагов питиахшей, он находился там, тут все быстро стерлось, изгладились из памяти и зал, и огромные сосны, и эта прекрасная женщина — олицетворение мольбы, и другие — стройные и красивые, и хозяева и гости, и представительные и невзрачные, и сильные духом и малодушные, и те, которые составляют нечто промежуточное между ними, стерлись, изгладились из памяти или полегли в саркофаги, либо смешались, как кости в общих погребениях, или те, что сопровождали его в качестве ассистентов, но его уже тут не было, ушел он, тщетно упрашивала Эли остаться, тщетно старался хор; он находился там, там на его плечи легла тяжелейшая ноша, ноша тысячи людей легла на плечи одного человека. Он сам искал пропавшие хроники, сам рылся в старых рукописях, сам устанавливал, где фальшивые, где подлинные, сам сравнивал с иностранными источниками, сам переводил, сам копал, скоблил и чистил, собирал расхищенное, собирал, и камень за камнем возводил строение великой истории Грузии, возводил, несравненный зодчий и каменщик, и столяр и подсобный рабочий, и раб и десятник — легла на его слабые плечи тяжелейшая ноша и он нес ее, худая его шея, казалось, вот-вот переломится, не выдержит такой тяжести. И не выдержала... Хотя это произошло позднее, не тогда, ясно же. Отнюдь не все решалось у деревянных стен зала, далеко не все.

Расходились довольные, высказывая пожелание собраться вновь, вот только этот ушел, ничего не пожелав, стоял — и вдруг очутился среди древних развалин, давным-давно погребенных землей; материала накопилось видимо-невидимо — десяти жизней не хватило бы, чтобы разобраться, а для обобщения не хватило бы еще десяти, тем не менее он добавлял все новые и новые, точнее, старые, древние, погребенные под землей, обратившиеся в прах факты, это была и жажда исследователя, и величайший патриотизм. Он только отсюда получал зарплату, из археологической экспедиции. И он копал, копал землю, копал и копал, искал непоколебленные основы поразительно

своеобразной культуры, малочисленного, но сильного народа, сильного духом, искал и находил. Врачи советовали задержаться в Боржоми, и Эли упрашивала, и подружки Эли, он ведь не мог пожаловаться, — чтобы задержаться в Боржоми, нужно иметь свободное время и кое-что еще — обеднели ученые и служители искусства, дачи подорожали, ему нужно было кое-что еще, конечно же, по крайней мере издать свои книги. Он-де и от этого воздерживался в ту пору, — поясняют скромные биографы, ну, а правда беспощадна, «воздержанность» выглядит издевательством, хотя что удивляться, как бы там ни было, Эли не отставала от него, не щадила ни обаяния, ни слов, ни лица, украшенного в придачу светом утра:

— Вы, может быть, хоть лекцию бы нам прочли...

— Не поленюсь!

— Когда ее назначим?

— Только, дорогая, я же не могу говорить просто так...

— По крайней мере тут...

— Кто разграничил: тут и там?

— Вы нам отказываете?

— Нет, дорогая, я говорю, что надо бы переждать.

Казалось, и говорить уж нечего, только Эли все не унималась:

— Приглашаем вас на концерт добровольцев. Вы на виолончели играете?

— Ха-ха-ха!.. Вот уже сколько времени не дотрагивался!

— Не забудете же вы ее навсегда?

— Как сказать, дорогая.

— Не забудете, нет, нет, не забудете, тут вы к ней вернетесь, господин Захарий Палиашвили будет дирижировать концертом.

— Я здесь его не вижу.

— Он прислал письмецо, в Тбилиси уехал, кажется, «Абесалома» восстанавливают.

— Восстанавливают?.. — он выпятил и без того слегка выпяченные губы и замер, бледный луч озарил его лицо, луч радости или надежды, бледный, но

сильный, и луч этот заторопил его, заставил быстро, чуть ли не бегом приблизиться к фазтону, он дожидался, ничто и никто не могло его остановить — не заурядную новость ему сообщили, а важную, торжественную, и торжественно же объявила ему Эли — восстанавливают «Абесалома».

Если восстанавливают, значит, кто-то задумался, мало ли что и кого еще приказали восстановить. Многого следовало ожидать, доброго, конечно, разволновались самые спокойные, даже Иванэ разволновался; ну, а автор оперы, не стоит и спрашивать, он и без того не отличался особой выдержкой и спокойным характером, в ту пору его приходилось держать изо всех сил — поезд на Тбилиси запаздывал, и он рвался в город пешком, те уже улетели, те композиторы-соперники или так называемые музыковеды, искатели новых, соответствующих эпохе ритмов, новых средств выражения улетели или бросились в Тбилиси стремглав и, возможно, опередили бы его или прибыли бы сразу за ним, кто кого, вот нестареющий, трижды проклятый вопрос мира, но что было, то сплыло, проснулась, значит, надежда, сердце запрепетало, добрые предчувствия теснили сердце — добро взяло верх, и зал гудел, гудела Квацихура, что скользила или мчалась между глыб. Там они все равно схватились бы или не схватились, уже не смогли бы собраться в Квацихе, уже не гудел бы от них зал, сгорело бы лето, сгорели бы надежды. И беспокоилась свита Эли, беспокоилась Эли, чуть не плакала:

- Если и у вас не будет времени...
- Мне и сейчас было трудно.
- О, что вы говорите!
- Постарел я, родные мои.
- О, что вы!
- Постарел, постарел...

Продолжение следует



С РАБОЧЕГО СТОЛА

ОТ АВТОРА

У КАЖДОГО литератора на рабочем столе свой рабочий порядок. И у меня свой. Я не говорю, что я его изобрел, — нет, конечно. Просто я давным-давно такой завел и он мне удобен. Вот и сейчас на моем письменном столе (а про себя я, как и всякий рабочий человек, называю его верстаком) порядок таков: в толстой самодельной тетради наброски, — основные сюжетные зигзаги, отдельные фразы и отдельные детали, — задуманных в разное время работ. Часть этих задумок я уже осуществил, а остальные... Что я могу сказать об остальных. Конечно, хочу и их осуществить. Очень хочу.

Рядом с тетрадью Задумок лежит папка с черновиками (и с заметками для черновиков и по поводу черновиков) повести «Четыре оранжевых и три черных слона», над которой я продолжаю работать. Затем лежат две папки с рассказами. Над циклом рассказов под общим названием «Девяносто девять вопросительных знаков» я начал работать еще в 1979 году. В основном это короткие рассказы, но не все, разумеется, — есть среди них и многостраничные. Одну подборку этих рассказов журнал «Литературная Грузия» опубликовал во втором номере за 1980 год... Все это время я их, так сказать, накапливаю и потому в одной папке лежат рассказы, требующие еще и доработки и дошлифовки, а в другой, в меру моих сил и умения, уже доработанные, уже дошлифованные, но отложенные в эту папку на неопределенный срок для дозревания, что ли... Вот из этой второй папки я отобрал, чтобы предложить редакции и следовательно читателям, три разных по объему рассказа, поскольку они, на мой взгляд, уже «дозрели» для этого. Исходя из этого же «уставного» порядка на моем рабочем столе, я и решил на опубликование первой части повести «Четыре оранжевых и три черных слона». Тут по журнально-газетной традиции мне следовало бы кратко рассказать, о чем же она, эта моя

Известному русскому писателю Эммануилу Абрамовичу Фейгину исполнилось 70 лет.

Автор множества рассказов, повестей, романов, таких как «Синее на желтом», «Тбилиси, предвечернее небо» и др., Эм. Фейгин плодотворно работает и в жанре художественного перевода. Русскому читателю давно и хорошо известны его переводы произведений грузинских советских писателей — К. Лордкипанидзе, Гр. Абашидзе, Ак. Белиашвили, Г. Чиковани и других. Успешным было и его выступление как сценариста

— он участвовал в создании популярного в свое время фильма студии «Грузия-фильм» «Тень на дороге». Нашей редакции Эммануил Фейгин особенно дорог: с первых же дней существования «Литературной Грузии» он — неутомимый, активный член ее редакционной коллегии и большой друг всего коллектива.

От души поздравляем Эммануила Фейгина со знаменательной датой, желаем доброго здоровья, новых произведений, новых творческих успехов!

повесть. Но я удерживаю себя от этого соблазна. Скажу только, что слон Зимбай, таинственному исчезновению которого из конюшни передвижного цирка посвящена предложенная вам первая часть повести, будет найден в одной из тех ее частей, которые пока еще пребывают на моем «верстаке» в черновиках и заметках. Вот только это я и решаюсь открыть, только это, так как скажи я о содержании повести больше — и мне уже станет скучно работать над еще не дозревшими ее частями, а вам потом скучно будет их читать. Однако по поводу повести «Четыре оранжевых и три черных слона», — не о самой повести, а только, повторяю, по поводу ее, — позволю себе сказать еще и следующее:

Я писал ее почти одновременно с романом «Сорок в тени». Почти, поскольку обращался к повести лишь в тех случаях, когда, работая над романом, натыкался на серьезные, казалось бы непреодолимые, препятствия — барьеры, эскарпы, рвы, стены. В таких случаях несколько страниц этой повести как бы уравновешивали мое рабочее состояние, потому что жизнь, которую я в ней изображаю, совсем не похожа на жизнь героев романа. Жизнь, которую я изображаю в повести, то и дело окунает ее персонажей в самые разнообразные по характеру и

«температуре» события: то в печальные и даже горестные, но чаще всего в забавные и даже комические (сам я пока думаю, что пишу не комедию в чистом виде, а скорее всего трагикомедию, но не утверждаю этого, поскольку не очень верю подобным авторским определениям), то в обиденные и обычные, с обычной температурой события — окунешься не ошпаришься, — но чаще всего в не совсем обычные и обиденные, и более того, в какой-то мере даже загадочные. Но тут я снова удерживаю себя от соблазна — ведь это же опять о повести, а я хочу только сказать о том, что повесть «Четыре оранжевых и три черных слона» помогла мне писать роман «Сорок в тени». Помогла в ущерб самой себе, потому что роман уже написан, и я в общих чертах знаю, какой он, хотя право окончательного приговора принадлежит не мне, а повесть я еще дописываю и знать, какой она будет, какой выйдет, и вовсе не могу. Да и о первой ее части, которую я по авторскому разумению своему считаю готовой, не мне судить.

И тем не менее я, преодолевая тревогу, сомнения, колебания, переключиваю часть своих трудов — всего лишь три небольших рассказа и всего лишь первую, небольшую часть повести — со своего рабочего стола на ваши столы, уважаемые читатели. Не знаю, скажете ли вы мне за это спасибо, но я вас заранее благодарю за терпение и внимание.

ГОРШОК И ФАНТАСТИКА

Вроде бы сказка

ЖИЛИ-были муж и жена, сперва очень любившие друг друга, а потом уже не очень. Как-то жена говорит мужу:

— Пойду в гастроном, куплю горчицу, соль, макароны и твою любимую ливерную колбасу. Думаю, что через полчаса буду дома, а опоздаю, сними с огня горшок с лобно.

Через полчаса муж попытался это сделать — жена запаздывала — и уронил горячий, дьявольски горячий горшок на пол. Горшок вдребезги, потому что был из хрупкой глины. А тут жена пришла. Лицо ее даже позеленело от гнева. И чтобы потушить пожар неминуемой ссоры, муж наплел жене целую «косми-

ческую» историю — с пришельцами, с грозящей землянам глобальной неприятностью. («Позвонили, звонок такой необычный, вроде азбуки Морзе, точка — тире, точка—тире, открываю, а их трое, с виду люди как люди, но я сразу сообразил, что они не земляне, сразу, а тут один мне говорит...»). И так ловко все наплел, так гладко и, ей-богу, так разумно... Жаль только, что для романа маловато, не потянет на роман, а для журнального рассказа в самый раз... Да, чуть не забыл: муж ходил в писателях-фантастах, нельзя сказать чтобы в известных, но неизвестным его тоже нельзя назвать, ибо печатался он в газетах и журналах довольно часто, а будущая его книга уже значилась в перспективном плане (по скудному, малоперспективному разделу «Н. Ф.») одного местного издательства. Ну, а жена фантаста было просто женой, домохозяйкой, и иногда, по совместительству, музой. Представьте себе музу, у которой разбили любимый горшок. Трудно? Невозможно? То-то же... А жену... Жена, плюнув в сердцах на пол, на осколки разбитого горшка, сказала:

— Дурак!

Такая рецензия, конечно, оскорбила фантаста, но он, подумав, быстро подумав, изобрел железное опровержение:

— Горшок стоит рубль... А мне в журнале за это мое сочинение двести дадут.

— Ну и дураки. И деньги у них дурные, несчитанные, вот и дают их за всякие глупости.

И разгорелась ссора. И ничего уже не помогло мужу-фантасту, даже напоминание о том, что рублевый горшок, который он разбил, был куплен не на какие-то дурные денежки, а на его кровный, фантастикой заработанный рубль.

Горшок и фантастика?! Бывает. И такое, увы, бывает. Жаль, конечно, что это не сказка для маленьких детей, — вроде бы и сказка, да только «вроде бы» и не более, — жаль, что это не фантастика для взрослых. Жаль.



ПОКА ЕЩЕ...

ХИНКАЛЬНАЯ в Водоразборном переулке. Пьют здесь, разумеется, не воду.

— ...Ну, а я, по-твоему, кто?

— Как кто? Человек.

— Ошибаешься. Пока еще не вполне человек... Пока только кандидат в человеки... С давно просроченным стажем кандидат.



Я ВИДЕЛ, КАК ЕГО ВОСКРЕСИЛИ

МОЛОДОЙ художник писал море. С натуры. На холодном и потому малолюдном Юрмальском пляже. Была только середина августа, и солнце над морем и пляжем было еще летнее, августовское, но греть не грело — до этого дня почти всю неделю шли дожди, они и остудили солнце, море, землю. Я вышел на прогулку в осенней одежде: в свитере, в кожаной кепке, и художник, спортивного вида парень, тоже оделся и обулся не по сезону — в непромокаемые ботинки на каучуке, в защитного цвета куртку с откинутым капюшоном, а шерстяная шапочка на темно-каштановых волосах и вовсе выглядела по-зимнему.

Сам я терпеть не могу, когда кто-нибудь без спросу заглядывает в мои рукописи (был у меня один такой сослуживец — человек работает, а он станет у него за спиной и шарит глазами по строчкам. Его вся редакция за это невзлюбила), и себе такого никогда не позволяю. Но тут вышло так: художник внезапно попятился от мольберта, и мне на какой-то миг открылась, сама открылась, его картина. Ох, лучше я ее не видел бы, так она меня огорчительно ошеломила: на картине было убитое море. Понимаете — убитое. С виду оно такое же, как и в натуре: такие же невысокие уже волны, — вчера еще они с грохотом захлестывали почти весь пляж, — такие же пронизанные солнечными лучами светлые кружева на них. Все это перенес на полотно старательный маринист (я еще издали заметил, как старательно и сосредоточенно он ра-

ботаает, и даже подумал в укор себе, и наполовину не выполнившему сегодняшнее самозадание: «Вот это трудяга, а ты...»). Все это было на полотне, не было на нем только одного — жизни. И не только потому, что море на полотне было неподвижным и беззвучным (понимаю, понимаю, что это только картина, а не натура), а потому, вероятно, что сама неподвижность эта была мертвой. Вначале мелькнула неясная, правда, в силу незавершенности своей неясная, мысль о кинематографическом стоп-кадре, но я ее тут же отбросил... Никакой это не стоп-кадр. Стоп-кадр для того, чтоб лучше, пристальнее, подробнее рассмотреть жизнь в ее движении — вот для того и останавливают какое-то ее мгновение... А это... То, что я увидел на холсте, не море вовсе, а застывший уже, закаменевший труп моря. Старательный маринист поступил с морем, как собиратель-энтомолог с бабочкой... Бабочку ловко, при помощи обмана, понятно, ловят, умерщвляют и распинают... И маринист изловил (изловил все же, значит умеет это делать, научили) море, умертвил его и распял на холсте. Я разозлился на мариниста, но даже в мыслях не позволил себе назвать его тем словом, которое... Жалость, внезапно нахлынувшая жалость к этому человеку победила раздражение и злость, и я сказал, безмолвно, разумеется, сказал: «Самоубийца, несчастный самоубийца». Наверное, можно было и как-то по-иному сказать о нем, но я сказал так, поскольку подумал, что, убивая море, он убивал в самом себе, в своей душе такое... Я подумал, что душа его и сейчас уже печальное кладбище со множеством орошенных слезами могил и что оно будет расти и расти, это кладбище, если судьба не смилостивится и не откроет старательному, чересчур старательному труженику кисти глаза на самого себя.

Я отвернулся от огорчившей меня картины и с чувством облегчения стал смотреть на живое море. (Какое счастье, какое огромное счастье, что оно есть, что оно живое). Вот тут-то и появился второй художник. Он, минуя тропинку, сбежал, вернее спрыгнул с нависающей над пляжем кручи и крикнул что-то полатышски, показывая свои наручные часы коллеге.

Эммануил Фейгин. С рабочего стола.

Форма одежды, — как говаривал один мой знакомый отставной военмор, — была на нем летняя: алая безрукавка с какими-то печатными сообщениями на груди и на спине, потертые замшевые шорты, сандалии на босу ногу и, конечно, ничем не прикрытые взлохмаченные янтарные волосы... Этюдник свой он довольно небрежно бросил на песок и что называется с ходу стал рассматривать работу товарища: то издали поглядит, то подойдет почти вплотную и, чуть ли не касаясь холста рукой, что-то показывает автору... Заспорили они тоже сразу и так горячо, и так громко, что я невольно подумал: как бы до обиды не дошло. Странно, но, не зная языка, я почти сразу понял, что море на картине произвело на громкоголосого критика такое же впечатление, как и на меня. «Значит, я не ошибся, значит, не возвел на старательного труженика кисти напраслину», — подумал я. А спор тем временем продолжался, и дело все же дошло до обиды: критикующий взялся за ремень своего этюдника, явно намереваясь уйти. И ушел бы, вероятно, как говорится, хлопнув дверью. Только критикуемый не дал ему уйти — он протянул товарищу свою кисть, молча протянул, что означало, как я понял, и несогласие с критикой и вызов: мол, на словах все всё умеют, а ты кистью докажи мою неправоту и свою правоту. Я почему-то решил: откажется, станет он возиться с этакой безнадежной мертвечиной... Но он, к моему большому удивлению, не отказался — сердито ткнул кистью (может, мне лишь так показалось, что ткнул, да еще сердито, возможно, что он лишь едва-едва коснулся кистью холста, вполне возможно, что именно так). Раз ткнул, два... Я не сосчитал, да и не мог сосчитать, сколько раз коснулась тогда кисть холста — ибо движения художника были почти неуловимы для моего ненаметанного глаза. И сколько это длилось, я тоже как-то не уловил. Думаю все же, что минуты две — не больше. Но вот последний удар кистью (я это запомнил именно как удар, а не скольжение, скажем, кисти по холсту или какое-то иное ее соприкосновение с холстом), последний, завершающий удар и — мертвое море вот так, буквально под кистью, воскресло и побежало, волна за волной, волна за волной, — к берегу, наперегонки, нет, я ошибся, не наперегонки, а од-

новременно с тем морем, что шумело в пяти шагах от мольберта.

...Если здраво рассуждать, мне повезло в тот августовский день. И в самом деле — непосвященный, я стал очевидцем чуда — чуда воскрешения старательно убитого, старательно распятого моря. Тогда на Юрмальском пляже я так и сказал себе — повезло, но если честно, то никакой радости от такой редкой удачи не испытал. И сейчас, вопреки здравому смыслу, не испытываю, поскольку сразу же вспоминаю лицо посрамленного мариниста. Убитое его лицо. Лицо только что убитого человека. Без малейшей надежды на воскрешение убитого. Так что чудо чудом... Но тут я предпочитаю поставить точку.



ЧЕТЫРЕ ОРАНЖЕВЫХ И ТРИ ЧЕРНЫХ СЛОНА

П о в е с т ь

«Порядок в танковых войсках».

(Любимое присловье отставного подполковника авиации Корягина В. Н.)

«Вы забыли, что сочиняете прозу, а не музыку. А у вас тема с вариациями. С разными: трагическими, скептическими, ироническими, фантастическими, реалистическими. В конце концов, остались только эти самые вариации, а тема исчезла. Пропала тема».

(Из письма Арнольда Жмыхова, литконсультанта областного отделения Союза писателей).

ПРОПАЛ слон.

Ушел?

Угнали?

Если верен первый вариант, то почему ушел? Чего ему, неблагодарному, недоставало? Если второй (тре-

Эммануил Фейгин. С рабочего стола.

тий исключен — никакой мистики), то кто угнал? И как угнал? И с какой целью?

Вопросы, вопросы. И, пожалуй, самый важный на первых порах: где он сейчас? Спрятался? Спрятали? Легко сказать... Сбежать или угнать—это еще полдела. А вот укрыть или укрыться — задача. Это же слон, а не комнатная собачонка. Слон.

Да, чтобы не забыть: прочитав эпиграф, вы можете подумать, что в истории этой будут участвовать танки. Так вот — не будут, хотя в давние, малотехнические времена подразделения грозно вооруженных слонов выполняли роль танковых войск. Выпустят их, бывало, на поле сражения... Только когда это было? Никто из нас, людей XX века, не мог этого видеть в натуре. Короче говоря, те слоны-танки к нашему мирному слону отношения не имеют. Поди теперь установи, например, какой из ста девяноста боевых слонов нумидийского вождя Нар Гаваса (III век до н. э.) приходится нашему герою пра-пра-прадедом. Они, конечно, его предки, но только дальние-предальные, почти мифические. Можно, разумеется, при желании разработать родословную нашего слона, не на такую, понятно, глубину, а, скажем, до какого-то там надцатого колена. Только зачем это нам, если наши собственные родословные деревья ниже самой низкорослой травки. Ну, про деда родного и про родную бабушку кое-что знаем, а про тех, кто за ними, и не спрашивайте. И ничего — обходимся. И без родословной слона как-нибудь обойдемся, тем более, что разговор у нас вовсе не о прошлом, не о сражениях с участием боевых слонов, а о нашем мирном времени, о том, как в тихую и мирную августовскую ночь на наших глазах... Стоп! В tomto и дело, что не на наших, поскольку еще не объявился, еще не нашелся среди нас человек, который может сказать:

— Я видел, своими глазами видел, как он исчезал.

Пока известно только, что он исчез, словно призрак, наш мирный слон: беззвучно, незримо, бесследно. Да, да, никаких пока следов — ни на земле, ни на небе.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

«Животные не спят. Они во
тме ночной
Стоят над миром каменной
стеной.
Рогами гладкими шумит в
соломе
Покатая коровы голова,
Раздвинув скулы вековые,
Ее притиснул каменный лоб,
И вот косноязычные глаза
С трудом вращаются по кругу.
Лицо коня прекрасней и
умней...».

(Николай Заболоцкий,
«Лицо коня», 1926 г.)

1.

БЕССЛЕДНО, беззвучно, незримо.
Вообразить подобное, пожалуй, можно, но если отбросить чрезмерные эмоции, если помыслить без отрыва от земли, поверить, что так оно и есть в действительности, с непривычки трудно. Во все времена золотой мечтой всех беглецов и всех похитителей было это — незримо, беззвучно и, главное, бесследно. И всегда они какой-то след-следочек оставляли и оставляют. Похоже, что в действительности по-иному не бывает. В сказках — да, в придумках — да, в жизни — нет. И в нашем случае, безусловно, какой-то след остался. Другое дело, что мы, ничего не сведущие в криминалистике, не смогли его обнаружить. Впрочем, милицейские оперативники, прибывшие — тут я чуть было не написал «на место преступления», но рано, и потому пишу, как в таких случаях принято, — на место происшествия... Только о действиях милицейских оперативников тоже, по-моему, еще рано говорить и судить — они ведь вступили в дело утром, а до этого... Нелепо, глуповато взрослому так разговаривать со взрослыми, и все же я должен сказать, что до этого была ночь. Как ни крути, а надо. Вот я и

Эммануил Фейгин. С рабочего стола.

говору: перед тем бурным утром была, значит, как вам уже известно, тихая августовская ночь, а место, которое я только что протокольно назвал местом происшествия, было той ночью самым тихим (за исключением одного, не очень ясного еще момента, но о нем позднее) если не во всем подлунном мире, то уж наверняка в нашем, пока не очень шумном городе. Оно было таким тихим, что было слышно, как скрипит перо, — явление по нашим временам редкое. Уверен, многие даже не знают, что теперешние «шариковые» тоже скрипят, хотя, разумеется, не так громко, как ископаемые гусиные перья. Для людей с тонким слухом это, понятно, разная музыка — одна от гусиного пера, другая — от стального, а от «шарика» и вовсе иная. Но для таких, как я, она одинаковая: и то скрип, и это скрип.

Скрип, скрип, скрип.

2.

СКРИПЕЛО, почти без остановок скрипело перо, шелестела бумага и рождался роман. Фантастический. Возможно даже, что научно-фантастический, поскольку юный его автор считал себя приверженцем некоторых увлекающих научных дисциплин. Сразу скажем, что в романе, на тех его страницах, которые уже родились, ничего — ни слова, ни полслова не было про нашего исчезнувшего героя и вообще про слонов. А могло быть, потому что действие романа проходило на некой, сравнительно молодой, бурно-энергичной, обладающей могучим интеллектом планете-созидательнице. И потому — творческий размах, эксперимент за экспериментом, чудо на чуде. Но вот слона не придумала Созидающая, не сконструировала, о чем свидетельствует вторая, весьма обширная глава романа. В ней воспеватель и хроникер этой планеты показывает и называет, — чаще, понятно, называет, — разнообразную ползающую, бегающую, прыгающую и плавающую живность, которой Созидающая, по тщательно рассчитанному плану, заселила все свои материки и океаны. Даже муравья и блоху упомянул наш автор в этой главе, а вот слона... Это, убежден, не случайный про-

мах. Не допускаю, чтобы добросовестный хроникер с молодыми, зоркими глазами приметил и отметил блоху и не приметил слона. Значит, нет слона на планете. Фактически нет. А это несправедливо и обидно. И прежде всего потому обидно, что это был бы первый во всей Вселенной Вечный Слон.

Вечный — слышите? — Вечный Слон.

Ну как — звучит?

Звучит, конечно, но только не очень понятно.

Пожалуйста, даю необходимые пояснения:

Акт творения всего живого Созидающая совершила, руководствуясь следующими Самоустановками (привожу их в том порядке, в котором сама Созидающая в пророческих и педагогических целях изложила своим только что изготовленным чадам):

— никакой эволюции! Ко всем чертям эту долгую, нудную, скучную бюрократическую канитель! (Бурные аплодисменты всех, имеющих конечности и потому способных аплодировать).

И далее, уже без мотивировок и комментариев:

— никакой борьбы за существование и выживание!

— никакой смены поколений!

А в завершение:

— жить будете, покуда я жива!

Опять бурные аплодисменты и всеобщее ликование. Еще бы! Как не ликовать, если тебе даруют бессмертие — Созидающая наделила свои творения некоторыми знаниями. Так, например, они твердо знали, что планеты живут неизмеримо долго, но в чем отличие «долго» от «вечно», не знали. Наоборот, они были убеждены, что «долго» и есть «вечно», и потому, услышав от Созидающей «...покуда я жива», тут же определили и себя в бессмертные, в вечные. Не знали они и того, что жизнь планет во вселенских пространствах далеко не безопасна. Это мы, разумные и смертные земляне, знаем, что там то же самое — а может, еще и страшнее, — что и на наших земных автодорогах. Разве, сев за руль автомобиля, мы знаем, что ждет нас через каких-нибудь сто метров? Особенно вот за тем, закрытым поворотом? За ним

всякое может быть: и свободный, надолго свободный путь, или завал — дерево упало, кусок скалы отвалился, лавина, оползень... А может, сразу за поворотом и произойдет твоя Роковая Встреча с «Развеселым самосвалом», что в переводе на вселенский означает Роковую Встречу... ну, скажем, с Водородными Облаками (прочитал я недавно про эти самые водородные облака, ужаснулся, и теперь всем советую: не читайте на ночь глядя, а если есть сила воли, то вообще не читайте фантастические романы с описанием космических катастроф. Покой потеряете, кошмары замучают).

Ничего не ведающие обо всех этих ужасах обитатели той планеты были счастливы и беспечно радовались своему рождению и своему бессмертию. Да и Сотворившая их тоже была весьма довольна: все-таки она опасалась, что ее творения, несмотря на принятые предосторожности, будут иметь некоторые отвратительные, решительно отвергнутые Созидающей инстинкты и, повинувшись им, забыв, что они бессрочные, что они вечные, с ходу, наперегонки побегут к поилкам и кормушкам, где уже не избежать свалки со всеми ее последствиями и, увы, кровью. «Только бы не было этого, только бы не было», — холодея от подобных мыслей, молит она, — а кого? Вот уж действительно непонятно! Но, похоже, молитва ее услышана: чада ее ведут себя смирнехонько. «Милые вы мои, хорошие вы мои», — радуется Созидающая. Ну, а те, за которых Созидающая больше всего беспокоилась, — ее разумные дети, ее Адамы и Евы, — те ведут себя еще похвальней, еще спокойней и смиренней, чем их меньшие неразумные братья и сестры. Смирнее и невозможно.

Не знаю и знать не могу, что из развлечений Созидающая приготовила для своих Адамов и Ев, но как природный землянин не представляю себе жизни — мужской, разумеется, жизни — без футбольных стадионов и ледовых дворцов. Мужчина должен состоять в болельщиках футбола-хоккея, а в некоторых, самых крайних случаях должен и сам гонять мяч или шайбу. И кино, по моим земным понятиям, тоже не помешает Адамам и Евам того новообразованного рая. Вот только что будут крутить в тамошних киношках? Бесконфликтные фильмы, наверное. А какое еще кино

могут показывать на бесконфликтной планете? (Подобные фильмы и на нашей весьма и весьма конфликтной планете в свое время показывали. К счастью, я их сразу забывал. Начисто. Не то бы ко всем болячкам еще и хроническая зевательная болезнь — такая, что до глухоты, до тошноты). Короче, я почти убежден, что есть там и стадионы, и кино, и прочие, по образцу земных, заведения.

...А я, должен сказать, из тех землян... Ну да ладно, сейчас это никому не интересно, из каких ты... Во всяком случае, не из святых.

3.

О Х, КАЖЕТСЯ, я что-то не так и не то говорю. Главным образом не так. Мне самому не очень по душе этот раздраженно-иронический тон, который я, к огорчению своему, сейчас обнаружил в предыдущей главке.

Вначале я просто возмущился: какой черт подсунул мне это под руку, но, поостыв немного, снял с черта обвинение, не с его кухни эта переперченная приправа. Раздраженность, например, явно от меня. Точнее, только от меня. Она неопровержимая примета старости, и если человек раздражен без всякой на то причины, в паспорт его можете не заглядывать — перед вами старый человек. Правда, я из тех стариков, которые умеют владеть собой и не распускают свои нервишки, даже если их что-то по-настоящему раздражает, но тут, видимо, увлекся, зазевался, и вот прорвало. Ну, а с иронией дело обстоит иначе — ирония, конечно, и мне присуща, только у меня, у постаревшего, она по-стариковски ворчлива, иногда мрачна, она у меня без соли и без перца, диетическая у меня ирония. Это у молодых ирония задорна и задириста, ходит в обнимку с юмором, жгуча, как грузинский перец-цицака, бесстрашна и остра, а порой и беспощадна, как шпага мушкетера. Это у молодых. И та, что я обнаружил в предыдущей главке, тоже принадлежит молодому — нашему юному фантасту Герасиму Марке-

лову (псевдоним этот я только сейчас придумал, настоящее имя фантаста я по многим причинам назвать не могу).

В жизни у Герасима такой мушкетерской иронии я не замечаю. Он, правда, юноша общительный, а значит разговорчивый, смешливый, и если в общем сам не блещет юмором, шутки собеседников воспринимает вполне нормально (смех у него хороший, искренний, от души). Она от дружелюбия и доверчивости, эта его общительность, что, разумеется, к боям, даже к словесным боям с людьми никак не располагает. А вот на бумаге разошелся и дал полную волю своей иронии наш юный фантаст. Тут, как говорят футбольно-хоккейные комментаторы, удар, удар и еще удар.

С чего бы это?

А разве не ясно — очень уж не по душе землянину Герасиму Маркелову новообразованный планетой-Созидательницей рай, и наш юный фантаст с наших, землянских, человеческих позиций вознамерился разбомбить его. Я говорю об этом совсем не предположительно, а наоборот, с полной уверенностью, поскольку от самого Герасима знаю, со многими подробностями, замысел этого его научно-фантастического сочинения. Но о замысле, да к тому же с подробностями, еще не опубликованного произведения имеет право говорить только сам автор или уполномоченные им лица. А я не уполномочен. Но от себя скажу — это я не только имею право, но и должен сказать, — не стал бы я так замахиваться на тот рай. И на тот. И вообще. Рука у меня не поднимется, язык не повернется. Ну, пусть он нудный, пусть скучный, пусть муторно от него, но ведь это все-таки рай, а не ад. А я — и не только я, многие люди моего поколения — не по книгам, не по сказкам, не по чужим рассказам — знаю, что такое ад. (Я, например, три войны пережил. А война такой ад. Такой...) Знаю, но в данном случае это мое знание ни к чему — подобным опытом просто так не обмениваются, его так, походя, не передают...

Хоть убейте, не пойму я иных интеллектуалов-прагматиков, для которых блоха — блоха, понятно. Для примера, для наглядности — целесообразна, а слой — излишество. Лично для меня он не только целесообразен, а просто необходим, хотя со слонами я никогда никаких дел не имел, да и видел их в природе всего несколько раз в жизни (зверинец, цирк, а где же еще). Но стоит мне только — изредка, понятно, — вспомнить, что есть на свете слоны, и сразу как-то очень спокойно становится на душе, и возвращается частенько ускользающая в последнее время вера в незыблемость нашего мира.

Слава богу, что есть еще на свете слоны! — восклицаю я в такие радостные, счастливые минуты. Да, радостные, счастливые, ибо ощущение полной гармонии в самом себе — в своей душе — и вокруг себя редкое ощущение. И почти невыразимое. Впрочем, всяк по-разному, по-своему выражает его — мой сосед и приятель отставной подполковник авиации Владимир Николаевич Корягин произносит в таких случаях одну и ту же, всегда одну и ту же фразу: «Порядок в танковых войсках». И вот что поразительно: сказанные, как правило, невпопад, а потому, наверное, всегда новые, неожиданные, непритертые, нестертые слова эти не только дают правдивую информацию о состоянии — на данный момент — души моего соседа (покой, полный покой и полная, счастливая удовлетворенность жизнью), но и внушают, передают это состояние в безвозмездное, конечно, пользование собеседнику или собеседнице. Поразительно, но факт.

А вот когда Владимир Николаевич о порядке не говорит, когда он вообще молчит, это значит, что у него самого скверно на душе. Сказать, что плохо ему, — гордость не позволяет, сказать, что хорошо, что «порядок в танковых войсках» — не позволяет совести. Он не из тех людей, которые строят порядок из вранья, на вранье.

Да и какой это порядок на вранье, какая гармония.

Эммануил Фейгин. С рабочего стола.

О ГОСПОДИ, заболтался я и, болтая, ни с того ни с сего наклепал черт-те что на ни в чем не виноватую умницу-разумницу. Простить себе этого не могу, ведь я непоколебимо верю, что разум, ясный разум, сам по себе добро и источник добра (зло не от разума, зло либо помутнение разума, либо полное его отсутствие, то есть безумие, люди так и говорят о безумцах, творящих зло: лишился разума, лишился рассудка), и я, конечно, никак не могу допустить — болтовня болтовней, — чтобы творящая жизнь — а это разве не доброе дело? — планета-интеллектуалка могла сознательно, по расчету — габариты, вес, потребность в пище — отвергнуть слона.

И даже не самого слона, а самую эту творческую и безусловно добрую, благородную идею.

Идею слона.

Нет, что вы! Не могло такое быть, не могла она такую идею отвергнуть. Просто руки у нее еще не дошли до слона (столько возни со всякой мелкотой. Думаете, мышку легче придумать и создать, чем слона? Думаете, она проще? Заблуждение). И при первой же возможности... Одним словом, дайте ей срок, и она себя приведет в полный порядок, эта умница-разумница.

ДО ЧЕГО же нехстати, до чего же не вовремя пропал слон. Наш, земной, разумеется, слон по имени Зимбай. (Я так и не узнал, что оно значит. Возможно, наш слон — единственное живое существо с таким именем). Ему бы исчезнуть, этому Зимбаю, — если уж так приспичило ему или кому-то, — месяца три или четыре спустя, и никаких серьезных последствий, никаких драм, трагедий, космических катастроф (вот видите, я опять о космических катастрофах! Это, знаете, такая тема, что даже говорить и думать страшно... И все равно говоришь и думаешь, и даже пытаешься представить себе, как это, хотя, если честно, другие мозги нужны, чтобы представить себе, что такое космическая катастрофа. Почти невозможно и описать ее

на нашем земном, человеческом языке, особенно если у человека, как на беду, врожденное косноязычие. Только раз уж взялся, то попробуй, хотя бы приблизительно, с космическим, можно сказать, допуском... Вот так, например: космическая катастрофа — это когда планета, чаще всего еще нам не известная, со всем своим «живым и мертвым инвентарем», вдруг, словно щепотка магния, — пшик! И нет ее. Космические катастрофы — это смерть целых миров. И никакой реанимации, без всякой надежды на воскресение, на второе пришествие, это уж действительно в тартарары, в бездну. И навсегда, безвозвратно. Был целый мир, и нет целого мира. Ох, до чего же не хочется в такое верить, душа отвергает — как же это так!).

А наш слон взял да и пропал, испарился, вознесся (три последние слова явно из третьего, мистического, категорически отвергнутого мною варианта. Ладно, потом как-нибудь замену их соответствующими реальной жизни словами). Как мы уже знаем, в самый неподходящий момент он исчез, наш слон, — как раз в эту ночь — часы и минуты я не указываю, их еще не уточнило следствие — в тетради нашего юного бородатого фантаста (бороду я ему только сейчас придумал, в жизни у Герасима бороды пока нет, но я почему-то подумал, что фантасту, созидающему и уничтожающему целые миры, приличествует борода, да еще чтобы подлиннее, поокладистей). Так вот, у бородача нашего рождаются самые прекрасные страницы романа. Это, можно сказать, пик вдохновения. И не только для фантаста, для планеты-разумницы это, пожалуй, тоже самый лучший, самый вдохновенный день Творения. И может она как раз в этот день и создаст... (Ладно, ладно, не суйся поперед батьки, не суйся, — говорю я себе). Конечно, и на пике не легко — некоторое головокружение и замирание сердца от восторга — господи, неужто все-таки добрался, докарабкался, — и неосознанная тревога, поскольку пик этот все-таки не место постоянного жительства, и дорога с него, с пика, как ни грустно, — вниз, вниз, а если еще выше, если с пика еще и еще вверх, то это только для крылатых — для дьявола, для ангелов и гениев.

Словом, восторги восторгами, а рождался роман — почти все так рождается — в муках. Правда, не в обычных, а, как принято говорить уже отмучившись, — в сладчайших. Созидающий его — фантастический роман — был счастлив и несчастлив, в зависимости от того, что происходило с его героями: иронизировал, когда их поступки вызывали иронию, смеялся, когда они были смешны или им было смешно, мрачнел, когда они мрачнели, страдал, когда они страдали, и однажды чуть было не заплакал от нестерпимой жалости к одному далеко не первостепенному, весьма неудачливому персонажу-землянину.

Говорят, что у таких горячих авторов обычно ничего не получается. Возможно, и так бывает, но я бы не стал распространять это на всех, кто творит свое дело вот так, с горячим, а еще вернее, с горящим сердцем, горячими руками и, вопреки мудрым правилам, с горячей головой. Я лично просто завидую таким горячим и горящим — старикам ведь свойственно завидовать молодым, что уж тут скрывать. По-хорошему, понятно, завидую и по-хорошему, без обиды, вздыхаю — эх, мне бы!

Но в нашем конкретном случае мне не до зависти. Какая уж тут зависть, если я уже знаю, наперед знаю, что роман свой юный фантаст не допишет (я не хвастаю, чем тут хвастать, от таких знаний, от такого провидения, если они, конечно, в реальности, а не на бумаге, — ржавеет душа, и сегодняшние, обыкновенные радости бытия превращаются в ожидание неизбежных бед и несчастий! Вот знать бы еще, как избежать и отворотить неизбежное и неотвратимое. Но кто из смертных наделен волшебным умением свертывать время? Впрочем, смотря какое время... Просматриваю уже написанные страницы этой повести и замечаю, я бы сказал, не совсем почтительное, а еще точнее — вольное с моей стороны отношение к времени, так что читатель, — если он будет, если кто прельстится, — может подумать, что пишу я не о том, что уже было и уже стало прошлым, а о чем-то сиюминутном и что, например, мы с Герасимом одновременно, как два синхронных, действующих на одной линии телетайпа, пишем — он свою букву, я свою, он свое слово, я свое, он свой роман, а я это сочинение.

ни на букву не отставая друг от друга. Места эти в рукописи, как я вижу, легко исправить. Но зачем? Даже настолечко оно никого не смутит, такое вольное обращение с временем, если, разумеется, оно происходит не в жизни, а на страницах книги, на театральных подмостках, на экранах кино и телевизоров — там время смещают и совмещают, уплотняют и расширяют, словом, проделывают с ним бог знает что. И ничего. Ведь это одна из многих условностей, без которых искусство... Только, ради бога, не вздумай объяснять то, что люди и без тебя знают испокон века, — ох, и прилипла к тебе эта дурная привычка).

Не допишет бородатый Герасим Маркелов свой роман, не доведет. Рождает, но не родит. И все потому, что... Но вы уже знаете, что пропал слон. Индийский или африканский, — потом узнаю, — слон по имени Зимбай.

Игра в Совпадения и Несовпадения совершенно непонятная мне игра. Кто-то, разумеется, выигрывает. Но кто? Вот это мне не известно. Пока не известно. Пока я только рассуждаю: ну, хорошо, допустим, что по правилам игры слон Зимбай должен пропасть (надеюсь, на время, надеюсь, не навсегда). Но вот почему, по каким таким правилам этой игры он пропал именно в нашем городе, именно этой ночью, именно в те часы, когда юный фантаст писал свой роман, именно в часы его первой служебной вахты? Почему именно... Немедленного ответа я, понятно, не жду, да и кто мне ответит? Игра, скажут, такая уж игра. Говорят, что даже ученые-математики, признанные мастера высчитывать и вычислять, премило проигрывают, несмотря на теорию игр, — есть такая область математики, — и все свои «системы». Наравне с теми, кто с трудом усвоил таблицу умножения, проигрывают. Предполагаю, и не без основания, что она много сложнее карт и рулетки, — их все же люди сами придумали, — эта древняя игра в Совпадения и Несовпадения (если надо, чтобы совпало, черта с два совпадет), игра, в ходе которой, по хитроумным правилам которой именно у нас, в степном городке, и именно при таких обстоятельствах

пропал слон, скорее всего, индийского—индийских, говорят, легче приручать — происхождения, по кличке Зимбай.

Ничего не скажешь — удружил.

ГЛАВА ВТОРАЯ

«...Лицо коня прекрасней и
умней.
Он слышит говор листьев
и камней.
Внимательный! Он знает крик
зверинный
И в тихой роще рокот
соловьиный.
И, зная все, кому расскажет
он...»

(Николай Заболоцкий
«Лицо коня», 1926 г.)

1.

КРИЧАТ ли обезьяны, когда пропадает слон? И что это? Крик радости или сигнал тревоги?

Вопросы выглядят праздными и абстрактными, если их так, в таком виде поставить. Ну, а если вот так:

— Эти ваши обезьяны...

— Джина и Джон?

— Джина и Джон? Это их имена?

— Клички, товарищ лейтенант. С вашего позволения, не имена, а клички. В жизни — клички, а на афишах... На афишах это вполне официальные имена— афишные. Вы, наверное, уже видели нашу рекламу. Светящиеся краски, это, я вам доложу, штука — даже самой темной ночью...

— Простите, Тарас Осипович, рекламу вашу я еще не видел, потом обязательно посмотрю, а вот Джина и Джон...

— Можно один вопрос, товарищ лейтенант?

— Пожалуйста, Тарас Осипович, хоть два.

— Почему вас вдруг заинтересовала эта парочка, Борис Александрович? Тут слон пропал, шутка ли, сам знаменитый Зимбай исчез, а вы... Джина и Джон. Да

пропади они пропадом! Только, уверяю вас, не пропадут, хоть бога моли, хоть дьявола. Ну кто, скажите, пойдет на такое невыгодное воровство? Только круглый дурак. А вот нету таких дураков. Нету.

В любом другом случае лейтенант Яковлев сразу осадил бы слишком разговорчивого гражданина: «Прошу отвечать на мои вопросы, — вежливо, но строго сказал бы лейтенант. — Только на мои вопросы. И покороче, пожалуйста, у меня нет времени на тары-бары».

В любом другом случае.

Но только не в таком.

Удивительный это случай. (Лейтенант Яковлев молод, ему 24 года, и он пока не потерял способность удивляться, и вообще у него такая натура, что еще много лет жизнь будет всячески, по-разному — то радостно, то горестно — удивлять его). Даже сверхудивительный... Век живи, век прослужи в милиции — не случится. А если случится, то один раз в жизни, она, жизнь, на бис такие представления не дает. Потому так все интересно Борису Яковлеву, сами понимаете, не каждый день он, начинающий оперативник из самого что ни на есть заурядного района, участвует в розыске пропавшего слона — не водятся в здешней степи слоны, даже зайцы уже не водятся — и не каждый день он ведет вот такие, совсем не праздные — вовсе это не «тары-бары» — разговоры об обезьянах. Так-то оно так, и все-таки служба есть служба... И потому — к делу! — приказал себе лейтенант, но, вопреки этому приказу, неожиданно для самого себя сказал:

— Это вы зря так, Тарас Осипович...Они, по-моему, симпатичные.

Тарас Осипович с интересом посмотрел на Яковлева.

— Симпатичные, говорите?

— По-мосму, симпатичные.

— Молодец, право, молодец, — неизвестно кого похвалил Тарас Осипович, но лейтенант решил, что это Джона хвалят, кого же еще.

— Джон и вправду молодец. Вежливый он у вас.

— Вежливый, — подтвердил Тарас Осипович. — Дрессура у нас на уровне. И, конечно, Джон протянул вам свою лапу?

— Протянул.

— Правую?

— Правую, конечно. Я же сказал, что он вежливый. Он мне правую руку и я ему правую руку.

— Лапу, — сказал Тарас Осипович. — Это вы ему руку, а он вам лапу.

— Тогда уж лучше так: он мне свою конечность, а я ему свою конечность, — предложил Яковлев.

Тарас Осипович снова посмотрел с интересом на лейтенанта милиции.

— А это, знаете, совсем недурно. Хорошенькая заготовка для репризы. Пока еще не совсем съедобная, а добавить горчички, перчика, соли, и можно подавать, — сказал Тарас Осипович и, подвинув к себе чистый телеграфный бланк (разговор происходил в почтовом отделении №2, куда они перешли из цирка — пятьдесят шагов, не больше, — поскольку оперативнику нужен телефон, а шапиту еще к телефонной сети не подключили), стал что-то быстро записывать крохотными, с булавочную головку, и такими же округлыми буквами. — Гм! Гм! Очень даже мило: лапожатие, лапорукожатие, руколапожатие... Тут можно феерическую скороговорку запустить. С конечностями посложней, но что-нибудь придумаем. Авторский гонорар за нами, Борис Александрович. Не обидим. И простите мне, ради бога, что прервал. Значит, вы с Джоном поручкались? Так сказать, дружеское рукопожатие?

— Да, дружеское, — хмуро сказал лейтенант Яковлев. Ему не понравился такой оборот разговора и особенно эти слова о гонораре. Слыхали уже и такое. Но на Тараса Осиповича не похоже. Да и зачем ему? Скорее всего, это моя мнительность. Он пошутил, а я... — Вполне дружеское, Тарас Осипович, какое же еще.

— Понимаю. И улыбки, конечно, были?

Вопросы собирался задавать лейтенант Яковлев, но задает вопросы, как видите, Тарас Осипович. И лейтенант не воспротивился этому, лейтенанту интересно, так зачем же официальность? Авторитет лейтенанта милиции (а тем более всей милиции в целом) не рух-

нет, если он ответит на некоторые вопросы. На понятные, разумеется, вопросы; а этот насчет улыбок не очень ясен. Лейтенант пожал плечами, а чуткий собеседник тут же пояснил:

— Конечно, это не улыбки. Смех и улыбка — это человеческое. А ваши вежливые симпатяги просто скалят зубы. Вот так, — Тарас Осипович опять-таки быстро, всего несколькими штрихами, нарисовал на телеграфном бланке, чуть повыше своих заметок, смеющуюся обезьянью рожицу.

— Так она же у вас хохочет! — рассмеялся лейтенант. — Посмотрите, Маркелов, она же умирает со смеху, правда?

Герасим Маркелов, ночной вахтер цирка (направляясь в почтовое отделение, лейтенант сказал Маркелову: «Пойдемте с нами, побеседуем»), искоса посмотрел на рисунок, натянуто улыбнулся и молча кивнул головой. Это был первый вопрос, который ему задал милицейский оперативник, вопрос явно не по существу и на него можно не отвечать, потому что ему, Герасиму, сейчас не до пустых разговоров.

— Гляди-ка! — удивился Тарас Осипович. — И впрямь хохочет. А я ведь не хотел. Это все наша дурная привычка очеловечивать. Все очеловечивать, даже самое нечеловеческое. Вот как вы, Борис Александрович, — Джон и Джина у вас и симпатичные и вежливые. Может, вы еще скажете, что они умные?

— Чего не знаю, того не знаю, Тарас Осипович. Я только сказал, что они вежливые и симпатичные.

— Должен вас огорчить, Борис Александрович, они не симпатичные, а хитрые. А остальное, как я вам уже сказал, — дрессура.

— И никакой самодеятельности?

Герасиму Маркелову, который уже весь мир видел через решетку, — пока воображаемую, но он же не маленький и понимает, что тюряги ему не миновать, — до тошноты противен весь этот треп. Это они нарочно. Это они терпение мое испытывают. Глупыми и бесконечными разговорами об обезьянах испытывают. Это же придумать надо: обезьяна как орудие пытки. Сла-

брак таких пыток не выдерживает, рвет на груди рубаху и, рыдая, вопит: «Виноват, вяжите!» Ох, до чего ж ненавижу обезьян и слабаков. Всех обезьян и всех слабаков, и себя, слабака, больше всех ненавижу!

Бедный Герасим Маркелов, это видение тюремной решетки довело его до таких мрачных, несправедливых мыслей. Несправедливых, бесосновательных по отношению к лейтенанту и, конечно, к самому себе. «Слабак», — с презрением подумал Герасим о самом себе. С моей, стариковской точки зрения, это явный перехлест — слишком строг Герасим Маркелов к Герасиму Маркелову. Слишком. Но это с моей, стариковской, точки зрения... А у юного Герасима — слабак — и готово: заклеил себя человек. Но я-то знаю, что он вовсе не слабак... Впрочем, хотя я и «прижимаю» за Герасима Маркелова, не стану я его сейчас нахваливать, — немного терпения, дорогие товарищи, немного терпеливого внимания, и вы сами на последующих, пока еще не написанных, правда, страницах этой повести увидите, какой он — в чем хороший и в чем плохой, в чем сильный и в чем слабый человек, Герасим Маркелов.

— На самодеятельность, говорят, даже ЭВМ способна, уважаемый Борис Александрович. А этих, если хотите знать, самодеятельности тоже обучают. А как же! Их обучили всему, что может развлечь публику, что может публике понравиться. Потому она так здорово и работает под обаятельных, эта парочка, что обучили ее чему надо. Квалифицированно работает, ничего не скажу.

— Квалифицированно? Значит, они хорошие артисты?

— Я не сказал, что хорошие, но артисты, конечно. И я, как представитель дирекции...

Он так и представился оперативникам милиции: — Представитель дирекции Литовченко Тарас Осипович. — Слово «администратор» ему почему-то не нравилось, но сами знаете — бывают у людей пунктики похуже, а этот...

— Да, представитель...

Тарас Осипович рассмеялся.

— Понимаю, понимаю. Мы и вправду несколько уклонились.

— Уклонились, — подтвердил лейтенант, но тут же подумал: «Ну вот еще! Никуда я не уклонялся. Обезьяны Джина и Джон интересуют меня не просто так, а в связи с исчезновением слона. И я должен все знать о них. Служба!»

Это, конечно, не было высказано вслух. Вслух лейтенант сказал:

— По непроверенным пока сведениям, примерно около полуночи ваши обезьяны почему-то подняли крик.

Сведения эти лейтенант Яковлев получил от пенсионера Мостового, который ежедневно с 23 часов 30 минут до 24 часов прогуливает по площади, где сейчас установлен шапито, свою овчарку-медалистку. Вот в этот период Мостовой и услышал крики обезьян, что несколько его не удивило, так как афишу цирка он, в отличие от самого лейтенанта Яковлева, прочитал еще позавчера, в первый день и в первый час ее появления. Как только Мостовой увидел наутро у цирка милицейский автомобиль и узнал об исчезновении слона, он подумал: «Может, обезьяны не просто так кричали» и безотлагательно сделал милицейским оперативникам соответствующее заявление. «А почему вы решили, что это кричали обезьяны?» — спросил Мостового лейтенант Яковлев. «А я ежегодно отдыхаю в Сухуми, там обезьяний питомник. Наслушался я там обезьян».

Ничего сомнительного в заявлении Мостового не было, но милицейский работник обязан все досконально проверить. Служба.

И такой проверкой лейтенант Яковлев сейчас занят.

На Тараса Осиповича сообщение лейтенанта не произвело никакого впечатления.

— Кричали, говорите? Ну и что. К вашему сведению, они всегда кричат.

— Всегда?

— Ну, не всегда. И не на публике, конечно, на публике они вежливые, симпатичные, обаятельные.

— Это я уже слышал, — остановил Тараса Осиповича лейтенант. — А меня интересует...

— Понимаю, понимаю, вы хотите установить время исчезновения Зимбая.

— Допустим.

— Вы полагаете, что крик обезьян — это сигнал тревоги?

— А вы догадливый человек, Тарас Осипович.

— Догадливый. У нас в цирке все догадливые — других не держим. Но, понимая, что вам нужно, я все-таки должен вас огорчить — тревогой тут и не пахнет. Зимбай и в хорошую погоду для них не существует, как, впрочем, и они для него. Добродушный и совсем не заносчивый по натуре Зимбай не переносит суеты и суетных. А Джина и Джон невыносимо суетны, и Зимбай, оберегая свою нервную систему, просто-напросто не замечает их. И они, в свою очередь, не замечают Зимбая. Впрочем, когда Джина и Джон ссорятся, когда выясняют свои семейные отношения, они никого и ничего не замечают, никого, даже самих себя, своих собственных криков не слышат — им в такие моменты на всех и на все начихать. Это, уверяю вас, типичные скандалисты и хулиганы, и я уже несколько раз ставил вопрос...

Лейтенант милиции Яковлев вдруг заторопился, прервал представителя дирекции Литовченко, так и не узнав (с чего бы это он в один миг стал таким суровым и пелюбопытным, наш лейтенант? С чего бы это?), а заодно с ним и Герасим Маркелов не узнал, а заодно с ними и мы с вами так и не узнали, как все-таки ставил вопрос о Джине и Джоне администратор передвижного цирка Тарас Осипович Литовченко. Не знаю, как вам, а мне черговски любопытно, что же он предложил: развод ввиду абсолютной несовместимости (слышал я такую формулировку на одном бракоразводном процессе), или мера была предложена чисто административная — уволить за систематическое нарушение дисциплины, за неэтичное поведение. Но, может, он совсем по-иному ставил вопрос о Джине и Джоне, ибо он вовсе не из героев журнала «Крокодил», а если временами и валяет дурака, как, например, в некоторых суждениях об обезьянах, то делает это явно не для дураков, и надо еще разобраться — для чего это ему нужно. Ну, а такая возможность у всех нас еще будет неоднократно — ведь до послед-

Этой точки еще не близко, будут еще и другие, другого назначения знаки препинания в нашей повести. Чувствую, что повторяюсь, помните — то же самое, только другими словами, я уже сказал о Герасиме, но поступаю я так сознательно, желая этим удержать и себя, и вас от преждевременных выводов и приговоров.

Лейтенант Яковлев не только прервал Литовченко, но и отвернулся от него. Не совсем, конечно, вполоборота: к Литовченко — боком, в профиль, к Герасиму Маркелову — лицом.

«Пролог окончен, сейчас он начнет душу из меня вытряхивать», — с тоской подумал Герасим.

— А вы, Маркелов, слышали их крики? — спросил лейтенант, глядя Герасиму в глаза, из вежливости, понятно, глядя, не для устрашения.

2.

ВОПРОС как будто нормальный, но Герасим усмотрел в нем коварство, подковырку, иезуитскую хитрость. Вопрос-ловушка, вот что это. Смотрит мне в глаза своими будто бы простодушными глазами, а сам подножку. «Что вы думаете, Маркелов, об их криках?» — вот какой вопрос должен был задать лейтенант, если он в самом деле такой простодушный и благожелательный. Но лейтенант спросил: «**Вы слышали?**» И сразу стало видно, куда он гнет. «**Вы слышали?**» — это значит «А не проспал ли ты слона, Маркелов? Скажи правду: проспал?» Вот так и спросили бы, лейтенант, нечего со мной хитрить. Когда со мной без хитрости, то и я без хитрости. Да и зачем мне хитрить, я же не спал, я до утра глаз не сомкнул, потому что всю ночь напролет писал свой роман. А вот о романе я ничего вам не скажу. Пока он мой и только мой. И к делу этому никакого отношения не имеет. И меня не должны о нем спрашивать, и я имею право о нем не говорить.

— Я вас спрашиваю — вы слышали крики? — поторопил его лейтенант.

— Слышал.

— А почему так нерешительно?

«А в самом деле — почему?» — спросил себя Герасим Маркелов. Он, безусловно, слышал, как кричали обезьяны. Но вот какие? Эти, земные Джина и Джон или... Как раз около полуночи — лейтенант сказал «около полуночи» — Герасим описывал тропические леса планеты-разумницы, в один миг, раз навсегда созданные, — подпирающие небо могучие экзотические деревья и прыгающие с ветки на ветку обезьяны. Он видел это, он писал только о том, что возникало перед его глазами, ну, а поскольку видел, то, конечно, и слышал. Только нечего усложнять: и те крикливые, и эти крикливые, — говорит же Литовченко, что они всегда кричат, эти Джина и Джон. И, скорее всего, они одновременно кричали. Ну да, одновременно.

— Кричали, — сказал Герасим. Уверенно сказал, так как сам уже нисколько не сомневался, что кричали.

— Время, пожалуйста.

— Около полуночи, наверное. Вы же сами сказали.

— Сказал. Но, если можно, поточнее. У вас часы есть?

— Есть. Но почему я должен был смотреть на часы? Я не придавал значения их крикам.

— Допустим. Ну, а сейчас что вы думаете?

— А ничего. Наверное, они так разговаривают. Нечленораздельная речь. Люди тоже нередко так разговаривают — криком и нечленораздельно. А это пока только обезьяны.

— Вот и я говорю, — почему-то обрадовался Тарас Осипович. — Я всегда говорю, что они пока только обезьяны. Разве не так, товарищ лейтенант?

Лейтенант не ответил, он считал, что вопрос исчерпан. Лейтенант уже потерял интерес (потерял или удовлетворил — это для меня не очень ясно) к Джине и Джону. В таких случаях говорят: «Рад знакомству, но... Стыковка тут, извините, полностью отсутствует. Слон Зимбай — сам по себе, обезьяны Джина и Джон — сами по себе. И нечего делать коктейль из лаптей и вермута» (шутку о таком невообразимом коктейле лейтенант где-то слышал, и это, понятно, глу-

лость несусветная, но полезная, как предупреждение: не делай глупостей).

— А чем вы в это время занимались, Маркелов?

— Думал, товарищ лейтенант.

— Думали?

— А что, нельзя?

— Почему же — вольному воля.

— Вот-вот — вольные думы в вольной голове.

— Вас понял.

— И я вас понял, товарищ лейтенант. Сразу. Вы твердо убеждены, что я спал.

— Я вам этого не сказал, Маркелов. И не говорю.

— Пока не говорите, но скажете.

— Сумею доказать — скажу.

— Никогда вы этого не докажете. Никогда. Потому что не спал я! Слышите? Не спал!

— А спокойней можно?

— Можно. Только зачем? .

— А затем, что нервы, — вмешался в разговор Тарас Осипович. — Береги нервы смолоду, Гера.

«С ума от них можно сойти, — подумал Герасим, — этот уже совсем по-свойски, как одноклассник, — «Гера», — а этот пока полуофициально — Маркелов. Я ему нахально: «товарищ лейтенант», а он ничего, не поправляет. А я, кажется, обязан к нему — «гражданин начальник» — гражданин, а он ко мне — «гражданин Маркелов» — тоже гражданин.

— И, само собой, ты не спал, Гера. Я этого и в мыслях не допускаю товарищ лейтенант. И не думайте, пожалуйста, что я как-то случайно взял на работу такого молодого вахтера. Я о таком уже давно мечтаю, Борис Александрович. Конечно, эта должность, по общему мнению, стариковская. Но они же спят на ночных дежурствах, как сурки, наши уважаемые аксакалы. А для молодого не поспать ночку — обыкновенное дело. Жаль только, не идут молодые в ночные вахтеры, не престижно. Я товарища Маркелова с трудом нашел и полдня уговаривал. Еле уломал. Еле-еле.

«Что это он? — все больше удивляясь, думал Маркелов. — Зачем он неправду говорит? И когда это он

меня искал? Да ведь это я его нашел. И когда это он меня уговаривал, — это я его... Зачем же он так? Ведь все наоборот. И еще как».

3.

И ВЕРНО — все было наоборот. Все, начиная с «наоборотного» положения самого Тараса Осиповича.

— Здравствуйте, я по объявлению, — сказал Герасим.

— Спасибо! Я знал, что вы придете, со вчерашнего дня жду.

Герасим должен был удивиться таким словам, но что слова, если в этом как будто заурядном номере гостиницы «Ковыль» и без них все способно удивлять, и прежде всего сам постоялец, который встретил Герасима у дверей в самом что ни на есть наоборотном положении — головой вниз, ногами вверх.

— Ждете? Меня?

— Вас, — подтвердил «наоборотный», быстро и пружинисто переступая с руки на руку.

«Он меня не за того принял», — решил Герасим и на всякий случай, во избежание недоразумений, пояснил:

— Моя фамилия Маркелов. Герасим Маркелов.

— Очень приятно. Будем знакомы: Литовченко Тарас Осипович. Извините, руки не подаю, — грязная.

Руку Литовченко все-таки протянул — не для пожатия, а для того, чтобы показать действительно грязную, густо побуревшую ладонь.

Стоять, ходить и даже бегать на руках Маркелов и сам умеет. А что тут особенного? В школьные годы Герасим и его товарищи и не такое откальвали... Однажды всем классом отправились в кино. От той картины в памяти Герасима остались только головокружительные трюки, которые, как утверждали титры, проделывал не каскадер, а сам артист. Восьмиклассники пришли от этих трюков в восторг и орали, — мальчишки орали, а девчонки повизгивали, — будто какие-то впечатлительные первоклашки, а когда вышли на улицу, один из перевозбужденных отроков стал на руки и предложил: «Айда, пройдемся по-нашенскому!»

«Айда!»

Портфели и содержимое карманов—девчонкам на сохранение, и степенно, — не хулиганы ведь, а скромные школяры — неспешно, в прогулочном темпе двинулись на руках вдоль Главной улицы. Кто-то слишком громко заговорил, а товарищ ему — «Не ори». «А ты ногами не размахивай — неприлично». «Я же не просто размахиваю — это я так жестикулирую». Посмеялись, но негромко, — умеют, черти, соблюдать приличия, когда хотят... Вероятней всего, это было, так сказать, «искусством для искусства» и совершалось для собственного удовольствия, без намерения кого-либо удивить. А может, заранее знали, что не очень удивят. Прохожие шли себе по Главной улице, как шли и до этого. «Надрать бы уши озорникам», — беззлобно подумал один. И другой тоже, без особого энтузиазма, больше по привычке, — старшим вроде бы даже положено ворчать на младших, — «Распустились». Третий улыбнулся было, но тут же спрятал улыбку — поощрять сорванцов все же не следует... А вот одна тетенька — уже вслух, митинговым голосом: «Безобразия! Срежь бела дня...», но, оглядевшись, слава богу, сообщила — не поддержат люди, не поймут. А ведь тут, если по свести, и понимать-то нечего, это ж испокон веков известно: где мальчишки, там всегда все вверх тормашками...

«Но то — мальчишки. — это уже мысли Герасима Маркелова, — а тут дяденька с усами. С наоборотными, правда, усами: им бы кончиками вниз, а они...»

— Паркет здесь отроду не чистили, — пожаловался Тарас Осипович. — И вообще грязь тут повсюду. Я говорю этому Федотову, вроде бы в шутку: вы же директор гостиницы, а не грязелечебницы. А он, понимаете, даже не улыбнулся. Скучнейший тип, пьет, на-верное, не просыхая.

— Он не пьет, он просто очень толстый и очень ленивый. Говорят, его скоро снимут, — сообщил Герасим.

— И правильно сделают. Гнать надо лодырей из сферы обслуживания.

Эммануил Фейгин. С рабочего стола.

Герасим рассмеялся.

— Ну вот еще! — Литовченко укоризненно покачал головой, почти касаясь ею пола. И это еще больше рассмешило Герасима. Уверен, и вас расмешит человек, который своею, извините, башкой натирает паркет. — Ну вот еще, — с нескрываемым огорчением повторил Литовченко.

Герасим смутился: не собирался он огорчать человека, а по глупости огорчил.

— Извините, — виновато пробормотал Герасим.

— А вашей вины тут нет, молодой человек. Это какой-то смурной и таинственный закон действует. Загадка смеха — слышали о такой? Если хочешь расмешить — черта с два рассмешишь. А тут — я же ничего смешного. Я же вполне серьезно, о вполне серьезном — сфера обслуживания это не смех, а слезы. А вас буквально корчит — так вам смешно.

— Извините, — снова сказал Герасим, но уже не таким виноватым голосом. Немного он все-таки виноват: пришел к человеку по делу, к старшему человеку, и — хи-хи-хи. Но и старший виноват — может, он и вправду вполне серьезно о вполне серьезном, только о серьезном не говорят вот так, стоя на руках.

— Проходите и садитесь, пожалуйста, — пригласил Тарас Осипович и поднес руку с часами сначала к уху, потом к глазам. — Еще минута, и я к вашим услугам.

«С форсом дяденька», — не осуждая, подумал Герасим. Он сел у стола, убрав под стул ноги, чтобы не мешать Тарасу Осиповичу, который тут же вернулся к прерванному занятию и — почти бегом, на пружинистых руках из угла в угол, как заведенный.

— Повторяю, — это Тарас Осипович сообщил из правого угла. — С пяти лет умею, но повторяю. Закон! — это посередине комнаты, буквально в ноги Герасиму, в его сроду не чищенные полуботинки. — У нас все на этом стоит, на повторениях, — а это уже из левого угла, разворачиваясь для новой пробежки.

«У нас — значит в цирке, — сообразил Герасим. — Как это я сразу не понял, что перешагнув порог этой комнаты, попал из обыкновенного в необыкновенное... Здесь уже действуют иные законы, иные, чем там, за

дверью. Тарас Осипович так и сказал: «закон». Закон цирка.

«Цирк это такое место на земле, где люди и предметы нередко **падают вверх**, — да, да, совсем не по Ньютону! — не сверху вниз, а снизу вверх». Фраза эта всплыла в памяти Герасима точно так — с кавычками в конце и в начале, с выделенными курсивом словами «падают вверх», — как она была тиснута в каком-то журнале. А вот в каком, и кто ее сочинил или процитировал, этого Герасим не запомнил. Прочитал однажды, принял на хранение и забыл. И ни разу не вспомнил, пока не появился для этого повод. («Кибер несчастный!» — не раз ругал он себя за такое устройство своей памяти).

О цирке Герасим, разумеется, кое-что и прежде знал. И не мог не знать. Он — читатель книг, журналов, газет, он в какой-то мере и зритель (страстью это не стало) кино и телека. Но вот в натуре он цирка никогда не видел, — в наш город, на памяти Герасима, цирк не приезжал, а когда в семьдесят шестом Маркеловы — отец и сын — ездили в Москву, о цирке они так и не вспомнили, в Москве и без цирка есть что посмотреть.

В ожидании чуда (все равно какого: большого или маленького, настоящего или мнимого — а какое мнимое, какое настоящее, вы узнаете только потом, а часто никогда и не узнаете) человек обычно испытывает некоторый трепет. А Герасим Маркелов постучал в дверь этой комнаты так же спокойно, как постучал бы в любую дверь в родном городе, совершенно не думая о том, что за дверью его ждет чудо, не придавая никакого, а тем более особого значения тому обстоятельству, что это его первое свидание с цирком. (Ох, лучше бы его не было! Или чтоб все по-другому было — билет за рубль и с другого входа, через другую дверь... Но когда история, ее события, ее происшествия принимают в расчет желания писцов-летописцев... Никогда и ни за что!). На двери, в которую Герасим постучал, под жестяным ромбиком с цифрой «23» был приколот канцелярской кнопкой тетрадный

разлинованный листок, на котором значилось — красным фломастером, печатными буквами — «Представитель дирекции цирка», — но само слово «цирк», как вы уже знаете, было для Герасима пока только словом, а стыковки с самим цирком еще не было — парню нужна была работа, и его привело к этим дверям объявление, одно из множества объявлений (на стенде «Горсправки» их было десятка полтора, одно другого заманчивее), которое ему больше всего подошло.

Постучал спокойно, открыл дверь спокойно, и... Красиво, должно быть, я выглядел в первый момент: разинутый от удивления рот, выпученные глаза. Картинка под названием «Явление кретина». Тарас Осипович, наверное, подумал: «Вот ненормальный». Я о нем так, он — обо мне. Нет, не мог он так подумать, — ведь сразу же за порогом (а порог этот — не просто порог: граница!), — который я, человек из страны Удивляющихся, переступил, входя сюда, в страну Удивляющих, нормальное и ненормальное меняются местами. И именами. Моя удивленная до полного поглупения физия там, за пределами этой комнаты, выглядела бы вполне ненормальной, кретинской; а здесь, по эту сторону порога-границы, она вполне нормальная, нормальной и быть не может. Потому что здесь уже цирк. Нормально, по-здешнему на все сто нормально то, что Тарас Осипович встретил меня в таком неподобающем — возраст, должность, — наоборотном положении. Там, за порогом: Безобразия! В служебное время, в служебном помещении (судя по бумажке на дверях)... В старину это звучало солиднее: «В присутственные часы, в присутственном месте». А тут даже без слов — не криви губы, не хмурь брови — не выражай возмущения, потому что это тебе не райконтора Госбанка, не кружок бальных танцев, а ЦИРК. Здесь, возможно, и сам директор в какие-то часы ходит на руках, вверх ногами, и свои «ЦУ» (ценные указания) сотрудникам дает в самых наоборотных положениях. Представьте себе директорский кабинет и директорское кресло, с невеликой высоты которого, — кресла, увы, до неба не поднять! — вас, своего подчиненного, поучает и наставляет завязанный морским узлом «человек-каучук». А пропесочивают тут сотрудников действительно с высоты. С директорской... у нижестоящего на лбу перш, а

вышестоящий, то есть директор, лбом на этом перше и, упираясь ногами в купол, оттуда, с верхотуры, разделяет нижестоящего на все корки... Пардон, увлекся, что, впрочем, немудрено — потому что ЦИРК.

4.

(«ЦИРК!», «Сплошной цирк!», «Это тебе не цирк», «Не устраивай мне цирк!» — ругаемся мы при встрече с «наоборотным» там, за этим порогом, в нашей обычной, сверхнормальной жизни. Там все цирковое — это сплошное безобразие, нарушение всех норм и уставов, а здесь... Да, кстати, чтобы вы не спутали, в скобках этих, — а я всю четвертую подглавку по некоторым соображениям решил дать в скобках, — не столько Герасима Маркелова, сколько моя, писца-летописца, приписка. Герасим по молодости еще, наверное, не знает, а я старый, уже давно знаю: переступая какой-нибудь порог, не спеши, братец, возмущаться, презирать, судить, отвергать. Тут чаще всего свои законы и правила, свои нормы, своя жизнь, и тем, что она не похожа на твою, она несколько твоей не хуже. Ну вот, видите, — и я грешен. Ну какой, скажите, я судья чему-то и кому-то, какое я имею право выносить приговор, даже такой неопределенный — «не хуже». А на более определенное «хуже», «лучше» я и вовсе не имею права, — только о себе, о своих мыслях и поступках. Только. У нас с вами есть в подобных случаях лишь одно право — право сказать: она не такая, как наша, эта еще незнакомая, еще непонятная, не пережитая нами жизнь. Вот и все — не такая.

И еще вот о чем я должен тут сказать для ясности... Да, тут, непременно тут, в другом месте, пожалуй, не скажу, что-нибудь да помешает, а там и вовсе забуду. А тут, отгородившись круглой скобкой от нормального повествования, — надеюсь, вы знаете, с чем его едят? Знаете. Еще на школьной скамье усвоили. Ну и слава богу! — я чувствую себя вольным казаком и скачу, куда душа приказывает. Сейчас она приказывает мне не приписывать героям этого повествования то-

Эммануил Фейгин. С рабочего стола.

го, чего у них нет. Это насчет циркового директора и Герасима Маркелова. И в самом деле: не мог, никак не мог юный Герасим вообразить себе такого «першиста». Ну где и когда он в свои годы мог такого увидеть? Это опять-таки я, писец-летописец по фамилии Гладких, за Маркелова вообразил. А я-то уже повидал их на своем веку, «першистов-антиподистов». Всяких. Разнообразных. Моему последнему предпенсионному шефу даже воображаемый цирковой директор мог бы позавидовать — такой это оказался заядлый, убежденный верхолюб. Его кабинет на втором этаже старого трехэтажного здания, а мой закуток был на третьем, но команда явиться пред светлые редакторские очи всегда звучала одинаково: «Гладких? Поднимитесь, пожалуйста, ко мне». И отбой. И я «поднимался» с третьего на второй, «не входя в обсуждение». Да и что тут обсуждать? И с кем? С шефом? Так ведь не дойдет до него — он ведь не нарочно, не со зла. Мысль о том, что кто-то из подчиненных может спуститься к нему сверху, просто не приходит шефу в голову. Так зачем же мне тратить силы на его «перевоспитание»? Не перевоспитаю. И все же я как-то не удержался, попробовал намекнуть шефу на неприличие этого «поднимитесь». Он мне — «...поднимитесь, Гладких», а я ему — «Сию минуточку, вот только фонарик найду». «Вы что, Гладких, сейчас день, светло». «А я думал, что у вас на чердаке...» Не дал он мне договорить, отключился. Вхожу к шефу, а он по телефону говорит о делах хозяйственных, о бумаге и типографской краске, и вдруг вопрос к собеседнику: «Скажите, у нас на чердаке свет есть?.. Разумеется, электрический... Должен быть? А вы проверьте». Понимаю, что это в мой огород камень, и думаю: ну, будет сейчас гроза, задаст он мне. А я ему — сдачу. Я ему прямо, без обиняков скажу, как мне стыдно за него. Приготовился я к бою, а бой и не состоялся. Он мне вежливо — «Садитесь», — а он человек вообще вежливый, и самые грозные «протирки» от него, как правило, на «вы». Сел я, и он сразу к делу приступил, к разбору и редактированию подготовленной моим отделом целевой полосы. Ну, а дело свое, редакторское, — врать от обиды и неприязни не буду, — он знает, хотя редактором стал сравнительно недавно. Жаль только, что слово стал он тут же из

своей автобиографии вычеркнул, вообразив почему-то, что родился редактором А это уже особая психология, Царская. Впрочем, цари какое-то время ходят в цесаревичах, в наследниках, а потом уже на престол, а мой шеф решил, что он так и появился на свет — в редакторском кресле, за редакторским столом, с редакторским двухцветным карандашом в деснице. Есть, конечно, от такой болезни всякие сильнодействующие лекарства и, возможно, бывшего моего шефа уже вылечили. Но, к сожалению, уже без меня. А меня он, кончив дело, спросил: «Вы юморески когда-нибудь писали?». «В молодости писал... В молодости я даже комедию написал трехактную, ну а потом текучка...» «Жаль, что текучка. У вас определенно есть чувство юмора. Но вы не огорчайтесь, у вас еще все впереди».

И сразу мне стало не до юмора. «Впереди у меня пенсия, — сказал я. — Через три месяца. Вы это имели в виду?» «Это, Гладких, именно это. Пенсионеры, знаете, пишут. Всякую всячину пишут. И вы будете». Вот и выходит, что напророчил мне мой последний шеф. Не пенсию, понятно, пенсия это помимо него. Писательство он мне напророчил. Снова, как однажды в молодости уже было, — прорвало меня. Кое-что за пенсионное время я, можно сказать, уже завершил. И вот пишу эту повесть, строю это совсем не цирковое представление с участием слона Зимбая и фантаста Герасима Маркелова. С точки зрения моего предпенсионного шефа, это, несомненно, «всякая всячина». Спорить с ним не намерен, мне и с самим собой спорить надоело. И то не так... И это... К черту. Мне самому от себя тошно. Такой я занудливый придира. Но это еще цветочки, ягоды впереди: придет время, и я все равно — такой уж характер у меня — устрою над этим своим детищем суд и расправу. Вернее, самосуд, по праву, о котором я сказал чуть выше. А пока... Просте мне по-человечески — ах, при чем тут писательство и все ему подобное. — интересно, как чувствует себя мой земляк, мой юный приятель Герасим Маркелов, переступив порог-границу страны чудес под названием цирк. Так что давайте все по боку, и пристроимся невидимками за спиной нашего фантаста).

ЭТО цирк, дорогой мой Герасим, а не какое-то служебное помещение, как ты почему-то решил.

Впрочем, убеждать в этом Герасима нет нужды — он сам, оглядывая (уже спокойно, без удивления оглядывая, а с нормальным, по его собственному определению, любопытством) комнату Литовченко, убедился в том, что попал в цирк.

По пути в этот 23-й номер Герасим миновал сначала вестибюль (слева — две «приезжие» пальмы, такие чужие, такие бесприютные в этой ковыльной степи и в этой гостинице «Ковыль», а между пальмами — тоже «приезжая», чужая и бесприютная здесь гипсовая застенчивая и застенчивостью согнутая в три погибели купальщица, а справа, в некогда отделанном под мрамор загончике, беззастенчиво-крикливая, норовистая степнячка-администраторша. Ох, и наорала она на вздумавшего ее игнорировать Герасима), а после этого негостеприимного гостиничного вестибюля был еще более негостеприимный коридор, несмотря на день, темный, — полкоробка спичек сжег Герасим, — и сырой, как штольня век тому назад заброшенной каменоломни. А запахи! Какие впечатляющие — тоже, наверное, вековой давности — запахи! Забыть все это так сразу невозможно, и потому легко представить себе, каким он был до приезда Тараса Осиповича, этот запущенный, грязноватый, а потому унылый номер, запущенный лодырями гостиницы «Ковыль».

А сейчас? Сейчас — праздник, карнавал, парад: все стены, а также дверь в коридор, дверь в ванную, двустворчатая дверца платяного шкафа, — увешаны многокрасочными цирковыми афишами с портретами артистов, главным образом клоунов. Вперемежку с афишами тут повсюду фотографии — цветные и черно-белые, и на них тоже клоуны.

На разноформатных портретах этих взгляд Герасима не задержался — узнал парень только Олега Попова и Юрия Никулина, остальные незнакомы и потому, наверно, не вызывают интереса. А вот этот — на дверях ванной — пожалуй, забавный. Портрет что надо! Работа! Во-первых, огромный, — это сколько-

возни, чтоб такой отпечатать, — жаль только, что видны монтажные следы. Клоун на нем в натуральный человеческий рост, а краски даже более чем натуральные, — традиционный четырехцветный клоунский костюм, рыжий парик, размалеванная как абстрактная картинка физия и огненно-рыжий, с малиновым грешком петух на плече.

Того и жди закукарекает цирковой Петька. Сила!

Еще более натуральным выглядит клоун, стоящий у самого окна. Но, разумеется, это не клоун, а манекен в клоунском наряде, манекен не портновский, а рекламный. Пятерка таких вот уже несколько лет обитает в витринах здешнего универмага, и, разглядывая их, один из школьных товарищей Герасима как-то сказал: «Красавчики с невольничьего рынка», потому что на каждом «красавчике» (обитают еще в витринах универмага «красотки», их даже больше, но сейчас разговор не о них) бирки с ценой в рублях и копейках. Ценой на костюмы, понятно, — витринными «красавчиками» наши универмаги не торгуют (шутка насчет невольничьего рынка явно киношного происхождения — шел у нас недавно американский историко-приключенческий боевик с рабами, работоторговцами и рабовладельцами), как, впрочем, не торгуют и костюмами, в которые они одеты. Костюмы эти тоже рекламные, это, как говорят еще, не «самый товар», а «лицо» товара, — пошиты они для манекенов с их идеальными фигурами, и потому так идеально сидят на витринных «красавчиках». На живом человеке такой костюм, пожалуй, так сидеть не будет.

Впрочем, на манекене-клоуне костюм сидит ужасно. Даже нельзя сказать, что он сидит, и что он висит тоже нельзя сказать, потому что он весь подчеркнуто, нелепо наоборотный (а каким ему еще быть в этом наоборотном месте, если не наоборотным?), потому что это открытый, свирепый бунт против портновской геометрии — одно плечо великанское, другое лилипутское, один рукав узкий и длинный, а другой колоколом и едва прикрывает локоть, одна пола до пояса, другая по колено, и штаны такие же. И по всему костюму, кстати, изготовленному из добротного джинсового ма-

териала, десятка полтора ярких этикеток: с консервных банок — рыба, мясо, молоко, овощи, фрукты; с бутылок — пиво, лимонад, водка, пепси-кола, денатурат, одеколон, коньяк, шампунь; и еще одна этикетка на весь левый нагрудный карман — Земной Шар, насквозь, через оба полюса пронзенный вязальной спицей. И ничего больше для расшифровки, для проникновения в смысл—ни буквочки, ни цифирьки. «Ребус для шизов»,— определил Герасим. В костюме и без «шарика на спине» было множество неясных, непонятных Герасиму намеков. Слишком много для простого в сущности замысла высмеять (а что в этом назначение костюма, Герасим уже не сомневался) современных пижонов с их пристрастием к джинсовому шик-модерну, к его фирменным ярлыкам-вывескам. Что ж, Герасим любит пародии... Но пародия должна быть смешной и острой, а эта, извините, туповата. Столько неясных намеков, невнятных претензий и нарочитых уродств... У естественного уродства естественная мера: у горбатого все-таки один горб, а не три.

В общем, раскритиковал Герасим Маркелов джинсово-этикетное чудо-юдо в пух и прах (меня спросите, так я скажу: в таких делах в критиканы лучше и не лезь, дружище! Тебе не смешно? Возможно. Но погляди — твой сосед смехом зашелся. А твоя соседка... Ты ведь считал, что она царевна-несмеяна. А у нее слезы на глазах — смех довел хохотушку. Сказал же тебе сведущий человек, Тарас Осипович, о законе смеха—таинственном, смурном и трудно постижимом. А ты что? Принял к сведению? Мало, надо бы к руководству, а то, милый мой, того и гляди сам со своим скороспелым критиканством в смешные угодишь).

Сегодняшняя приписка (постскрипtum) к этой вчерашней реплике:

Перечитал я на свежую голову эту свою вчерашнюю реплику, а заодно и некоторые предыдущие, поскольку и они в том же духе, и страшно рассердился. На себя рассердился. С чего это я стал изображать себя таким непохожим — читаю и сомнение берет: ты ли это, Ефим Григорьевич Гладких? Какая тебя муха укусила, — взял вдруг и повешал на себя всех собак. Ну, на кого ты здесь, на бумаге, похож? На нейтрала-примиренца, вот на кого! А какой же ты нейтрал, Гладких? И с каких

это пор ты примиренец? Ты же Фимка-Драчун, Фимка-Забияка — неужто забыл свои мальчишеские прозвища? — Ты же Рашпиль, Наждак, Жигало... Вспомнил? Это ведь псевдонимы твоей рабкоровской юности, ты же автор множества зубодробительных газетных заметок, статей, фельетонов (я написал «множества», так как счета всей этой своей продукции никогда не вел, в альбомчики ее не клеивал, для Собрания сочинений не хранил — все равно подобную продукцию нашего брата-газетчика многотомными собраниями не издают, а то были бы тома и тома. Ну, а насчет того, что назвал их зубодробительными, то могу только добавить—во всяком случае таково было их назначение: дробить, вышибать зубы всем хищникам и гадам, мародерствующим на полях наших сражений со злом); и, наконец, ты же Активный Штык, вот кто ты в действительности, Ефим Григорьевич Гладких. Кстати, «Активный Штык»—это вовсе не из далекого прошлого, так называли меня коллеги-газетчики, торжественно проводя на пенсию. Так какого же черта ты сам, — сам, Гладких, самолично и без принуждения, — бездумно водя пером по бумаге, все похерил: активный штык переименовал в ржавую, притупившуюся железку, которой даже банку со сгущенкой невозможно продырявить... Ничего не скажешь, хорошенький автопортрет создал ты этим пером на этой бумаге. Теперь можешь, сколько душе угодно, любоваться плюгавеньким, беззубым старичком-непротивленцем, самого себя цепко хватающим за фалды, самого себя то и дело одергивающим: «Не суйся! Не суди! Не рыпайся!» и, что еще хуже, то и дело одергивающим юного своего приятеля Герасима Маркелова: «Не критикуй! Не высмеивай! Не лезь!» С чего бы это? Бумага запутала, перо подвело... А ты эту бумагу, на которой неправда, порви, начавшее фальшивить и привирать перо сломай, а руку, которая им водила, отхлестай как следует солдатским ремнем... Сохранился у тебя такой? Ну и действуй! А заодно не мешает и по отсиженному заду (гляди, и до мозолей на этом мягком месте допишешься) этим поучительным и лечебным ремнем: и для кровообра-

Эммануил Фейгин. С рабочего стола.

щения, для разгона крови полезно, ведь отсидел беднягу, да и память вследствие этого укрепляется. Горяченьких, да еще горяченьких, вот так! — на другую руку с поучительным или карательным ремнем никогда не поднимал и не подниму, а на себя не только можно, а просто необходимо, чтоб запомнил, чтобы впредь неповадно было уступать соблазну неискренности, загримированной под правду неправде и отвратительному лицемерию, загримированному под вдохновенное лицедейство, — «ах, как правдоподобно, ах, какая потрясающая доподлинность, да это же более достоверно, чем сама жизнь». Тут счет простой: соврал самому себе, полицемерил, полицействовал перед самим собой, так и с другими, перед другими все это легко проделаешь. Железный тут счет. А этот десяток горячих, чтоб не скоморошничал, раз ты не скоморох, раз это не твоя профессия, не твой кусок хлеба. Что? Больно? Кожа горит? Ничего, ничего, потерпи, зато всегда будешь помнить то, что человеку надлежит помнить до последнего вздоха. А эти заключительные десять — чтобы оставил в покое Герасима Маркелова, — он и без твоих непрошенных советов разберется. Разве ты не видишь, что парень, не без труда, понятно, постигает — пока только азы, ведь все начинается со своих азов, — жизнь, и не только пашу земную, он, брат, и на инопланетную замахнулся, всю жизнь, во всей ее вселенской необъятности и в ее малой, к самым глазам приближенной, малости, к такой, например, малости, как этот клоун-манекен в нелепейшем костюме.

* * *

«Да это же для пугала огородного костюм», — подумал Герасим, — а он все-таки не пугало, этот клоун-манекен, попробуйте, поставьте его на огороде, так не от него в страхе побегут и полетят, а к нему доверчиво побегут и полетят зверьки и птицы — за добрым советом и чтобы уму-разуму поучиться.

Клоунская маска у манекена так же размалевана, как и маска клоуна с рыжим петухом. Но у клоуна на цветной фотографии маска весельчака-озорника, который прикидывается дурачком, чтобы удобнее было жить — какой с дурачка спрос? — и безопасней озор-

ничать. А у манекена это не маска даже, а лицо доброжелательного, многознающего и по-доброму лукавого мудреца. Вот именно—лицо, и поэтому Герасима, который твердо знает, что перед ним манекен, так и тянет, так и тянет потрогать его руками. «Глупости какие», — сердится на себя Герасим и хочет повернуться к подозрительному — кто их тут разберет! — манекену спиной. И повернулся бы, — ну их к дьяволу, всех этих клоунов, спятить от них можно, — но как раз в этот момент Тарас Осипович пролетел через всю комнату по воздуху и благополучно стал на ноги рядом с манекеном. «Надорвешься, старичок!» — подумал наш несколько ироничный Герасим Маркелов, но самое сальто и четкое приземление, будучи в основе своей человеком справедливым, одобрил: чистая работа.

Тарас Осипович снова посмотрел на часы, — к уху на этот раз он их уже не приложил, — и сказал с удовлетворением: — Уложился. Секунда в секунду. А теперь у меня по расписанию час костюма. Я тут, как видите, — Тарас Осипович кивком показал на манекен, — кое-что сочиняю.

Так вот на кого, сам того не подозревая, Герасим Маркелов нацелил свои критические громы и молнии. Хорошо еще, что не высказался. Нельзя же так, мимоходом, без причины и без нужды, по голове человека!

— Я коротко, — сказал Герасим, приподнимаясь, поскольку манипуляцию с часами (и сопровождающие ее слова) воспринял на этот раз как вполне прозрачный намек на чрезвычайную занятость представителя дирекции.

— Сидите, сидите, — остановил его Тарас Осипович. — Мое расписание не догма. Да и вы не так, а по делу. Ну, а костюм, он, как видите, уже почти готов. Надо еще мелочишки всякие, но они для меня не орешки даже — семечки. С ними я быстро, потому что знаю уже, как надо и что надо. Знаю. А вот как все это работает на нашей орбите, на манеже — и я не знаю, и бог не знает. Никто. Согласны?

— Можно и не угадать, — согласился Герасим.—
Что тут скажешь заранее! Это ведь только костюм.

— Умница,—похвалил Тарас Осипович.—Здорово рассуждаете. Ну, а все-таки, будет он смотреться, как по-вашему?

Герасим пожал плечами — сам не знает и бог не знает, а я откуда могу знать?

— Может, и будет, — сказал вежливый, не всегда, правда, вежливый, Герасим, но опять-таки ради справедливости добавил: — Смотри на ком.

Тарас Осипович расплылся в улыбке: — На мне он будет, на мне! — радостно сообщил он. — Это я для себя сочинил! — Он не дал Герасиму и рта раскрыть,—и так ясно, о чем человек хочет спросить.— Все правильно, все правильно, дорогой мой, вы не ошиблись, — сейчас я представитель дирекции цирка... Так сказать, его квартирьер. Официальный. В бумагах моих не значится, правда, что я временный, что я только исполняющий обязанности. ВРИО. Но я-то знаю, что не свою сейчас работу работаю, что это, если хотите знать, аварийная остановка в пути... Вынужденная посадка... Я человек старательный, я работяга, и потому никто не замечает, что руководить, управлять—совсем не мое призвание. Вы знаете, что такое призвание, Герасим?

— Приблизительно.

— А я точно знаю.

Тарас Осипович Литовченко был убежден: кто-то, а он-то знает, что такое призвание. Оно и счастье, и несчастье. Оно и поднимет, и погубит. Запросто. Тарас Осипович Литовченко может на эту тему лекции читать и книги писать. Например, о том, что человеку в метрику, в специальную графу «призвание» надо записывать: «рожден для того-то». Спрашивается: как такое узнать? Вот в том-то и дело... Обнаружить в ком-то настоящее его призвание, — да что в ком-то, даже в самом себе, — ой, как нелегко. Но нужно. Иначе плохо приходится человеку. Тарас Осипович на своей шкуре все это испытал, учел. Конечно, если у тебя отец и мать цирковые, то и тебе вроде бы на роду написано — быть цирковым. Но это, так сказать, общее, семейное, родовое, наследственное призвание. А вот кем тебе, Тарасику. Тарасу, Тарасу Осиповичу, быть в цир-

ке — это уж тебе самому искать и найти, если, конечно, появится такое желание. У многих оно за всю жизнь так и не возникает — работают то, что их родители работали, или то, чему однажды в детстве научили, и ничего, не рыпаются и на судьбу не сетуют. Тарас Осипович из тех, которые ищут... Вот, кажется, уже нашел, но нет, ошибка, горькое разочарование, и все сначала. .

Тарас Осипович не стал рассказывать Герасиму Маркелову о всех перипетиях своей артистической жизни, сказал только, что работал в цирке почти всё. И неплохо. Но и не так, чтобы... Короче говоря, старательно, на уровне. Про него говорили и писали — «способный», а он хотел... Он хотел обнаружить настоящее свое призвание, и обнаружил: оказывается, он рожден, чтобы работать клоуном. — вот, оказывается, для чего он, Тарас Осипович, рожден.

Плакать над тем, что обнаружил он в себе свой природный дар уже в немолодые годы — на четвертом десятке,—Тарас Осипович не стал. Засучив рукава он принялся за дело. В то, как все это произошло,—и самооткрытие так глубоко, так чертовски глубоко запрятанного таланта, и о других, связанных с этим подробностях,—Тарас Осипович своего юного собеседника не посвятил... В двух словах об этом не рассказать, а романы писать он не мастер, не его это призвание—писать романы. Трудности? А какое дело дается без трудностей? Препятствия, барьеры? Ну, что из того, что Тараса Осиповича уже дважды «завернули»? Официально сказали: «сыро», а неофициально... Неофициально друг, баловень судьбы, еще в отрочестве нашедший свое призвание, сказал (впрочем, не сказал, а спросил, как добрый доктор — больного): «А не поздно ли, Тарас?» Наверное, все это не очень интересно постороннему человеку, — тем более в сухом пересказе, — да и самому Тарасу Осиповичу сейчас неинтересно. Обычно рассказывают о поисках клада те, кто клада так и не нашел, — ах, так интересно было искать! — а у Тараса Осиповича клад уже в руках, победа уже близка, до нее уже не шаг и даже не полшага: ты, стоя на месте, лишь чуть подайся вперед, и победа жарко дохнет в твое лицо... Залп аплодисментов и вихрь, вихрь чужих

и своих восторгов. И твоя главная задача—себя удержать на земле, чтобы не упасть, чтобы не подхватило и не занесло бог знает куда, и, — что не менее трудно, удержать в руках самую победу. Победа! Победа! Вот о ней — уже близкой, уже слышимой, осязаемой, обнимаемой, он сказал Герасиму Маркелову.

— Не сегодня, так завтра я сбрею эти гнусные усы, — сказал Тарас Осипович.

— При чем тут усы?

Тарас Осипович охотно пояснил: поскольку он усов терпеть не может, он их отрастил для того, чтобы они подгоняли, к победе подгоняли.

— Представляете, какое это будет удовольствие — сбрить их в день выхода на манеж. Представляете?

— Не очень, — признался Герасим. — И они у вас вовсе не гнусные. По-моему, они идут вам.

— Гнусные. Свой портретик я, милый человек, хорошо знаю. Да и где вы видели клоуна с усами, да еще такими? Работать я буду вот в таком, примерно, гриме. Ну, как на ваш вкус?

— Сила, — сказал Герасим.

— А мне, по правде, еще не очень. Сырого теста еще много. Я клоун подвижной, прыгучий, а с такой квашней не попрыгаешь.

— Ну что вы! — горячо возразил Маркелов.

— Квашня, — спокойно подтвердил Тарас Осипович. И так же спокойно сдвинул на затылок манекену его раскрашенное лицо. Словно кепчоку (гоняя на велике, Герасим обычно свою клетчатую — козырьком назад, — мода такая у здешних парней). И сразу открылось другое лицо манекена — покрытое густым коричневым загаром лицо витринного красавчика. (Бельевая резинка от маски тоже коричневая, должно быть просто грязная, замусоленная). Когда такой вот в витрине демонстрирует нормальный костюм, никого его лицо не интересует, все присматриваются и прицениваются к костюму, манекена с лицом мудреца вы все равно не увидите, все равно это будет лицо смазливой фата, правильное, на пальцах вычисленной правильностью, — ЭВМ тут не нужна, — лицо безукоризненного дурачка. А это... Оно будто специально для этого нелепого костюма создано, нелепое это лицо. Лицо ду-

рака, претендующего на оригинальность. А это самые страшные, самые злые дураки. Витринный что? Витринный дурачок не понравился, и ты, чтобы не портить себе настроения, отвернулся, а в жизни куда ты денешься, когда вот такой самодовольный, самоуверенный, с мерзкой ухмылкой на роже, считающий себя сверхоригинальным, сверхэлитным, отмеченным, избранным, вознесенным, — прет на тебя железобетонной грудью... Тут уж стой, не сдавайся, а иначе он на тебе, в лучшем случае, все ребра пересчитает, а в худшем горло перегрызет и всю кровушку из тебя выпустит. Не посягай!

Герасим отвернулся от витринного красавчика в клоунском одеянии. Ну его!

— Вы так и не сказали ничего о костюме.

— А что я могу сказать? По-моему, у клоуна должен быть клоунский наряд... Вот как у этого, с петухом.

— Так он же буффонадный, а я коверный.

Неискушенный в цирковых делах Герасим развел руками: мол, видите... Ну, а раз видите, так зачем же спрашивать.

Тарас Осипович тут же все понял, — сообразительный дяденька! — и насчет костюма больше спрашивать не стал.

Тут я представил себе, что Тарас Осипович обсуждает все это не с Герасимом Маркеловым, а с моим старшим семнадцатилетним внуком Юрием Гладких. Вот была бы потеха! Юрка мой — человек резкий, негибаемо-прямолинейный, всегда говорит что думает, а говорит часто так... Одним словом, это, как говорят у нас на юге, «тот фрукт», и можно не сомневаться, что ему не понравился бы клоунский костюм Тараса Осиповича, да и вся его затея в целом. Ох, и задал бы Юрка жару начинающему клоуну. — «Не в свои сани садитесь, уважаемый Тарас Осипович. В свои опоздали, а это — чужие». — «Но я же цирковой. Природный», — возразил бы Тарас Осипович. «Верно, что цирковой, верно, что природный, но в клоунском деле вы, — я же по костюму вижу, — не профессионал. Тут вы явно дилетант», — вот так бы Юра прямо и

Эммануил Фейгин. С рабочего стола.

сказал. Он, наш Юра, считает, что мужчине эпохи НТР стыдно быть дилетантом. Так что и само это слово — ругательное. Но не из самых ругательных, конечно, — у Юрки, наглеца, оно, по его собственному определению, из «детского набора», а есть еще, оказывается, «девичий», «дамский» и «мужской» наборы. Интересно, из какого набора «Длинная сопля на веточке» (это когда Юрка разносит чем-то неугодные ему романы и фильмы). Не из детского, понятно. Я ему: «Просто невозможный язык. И не стыдно, внук, это же вульгарный гибрид похабщины и блатной музыки». А Юрка только плечами пожимает: «Обычный современный сленг, дед. Язык нашего поколения». — «Вашего поколения? А Герасим Маркелов из какого?». Тут мужчина эпохи НТР буквально взвился—терпеть не может, паршивец, положительных примеров (потому, подозреваю, не терпит, что сам себя считает сверхположительным. Обидно, если так). А ведь правда — ни разу не слышал я от Герасима ничего подобного.

Несомненно, у Юрки и Герасима много общего, много одинаковых черт и примет, свидетельствующих об их принадлежности к одному поколению, причем не только таких внешних, как длина волос и ширина штанов, а по-настоящему глубинных, этим и только этим поколением порожденных. И это так естественно. И это прекрасно — меня всегда радует разнообразие лиц и характеров в любом человеческом Множестве.

Всегда радует, а вот смотрю на Юру и Герасима... Эх, да что тут скажешь! Я хочу, чтобы мой внук был таким, как Герасим, — в главном, понятно, не в частности, не в мелочах, а в самом главном.

И мне горько, что он не такой.

Жесткой конструкции человек мой внук Юрий:
С ним не поспоришь.

Но Тарас Осипович, — спорщик и задира, в чем и много раз убеждался, — спорить на этот раз даже с «мягким» Герасимом не стал, а только сказал чуть ли не жалобно:

— Ох, эти теперешние мальчишки. Неизвестно, никому не известно, как с ними разговаривать.

— По-деловому, — подсказал Герасим. — Я лично по делу пришел.

— Знаю.

— Знаю, что знаете. Вы уже сказали.

— А почему не спросили, откуда я знаю?

— Решил, что шутите.

— И не думал. Я просто исходил из своего делового опыта: приезжаю в город, даю объявление, и начинается парад таких юношей, как вы. Цирк — это магнит, дорогой мой. И вот идут, идут, один другого лучше. А я принимаю парад, я отбираю. Лучших из лучших. Вас, считайте, я уже выбрал. Завтра приедет костюмерша, подберет и подгонит вам униформу.

— А зачем она мне?

— А затем, что я вас в униформу беру.

— Не подходит.

— Что значит «не подходит»? Я же вас на манеж вывожу, на публику! Как участника представления.

— А я не хочу на манеж. Нужен он мне... Я в ночные вахтеры пришел наниматься.

Минут двадцать уговаривал, уламывал Герасим представителя дирекции Тараса Осиповича Литовченко.

А Тарас Осипович Литовченко, представитель дирекции, официальное лицо, — лейтенанту милиции, официальному лицу, все в наоборотном виде преподнес. И не стыдно ему...

И тут пришла к Герасиму несколько запоздалая, — что вполне извинительно в его положении, — ясность: это он ради меня. Это он выручить меня хочет. Спасибо ему, конечно. За доброту спасибо. Но я не хочу... То есть хочу... Но чтобы так — нет, лучше уж... И Герасим даже головой сердито потрянул, до того не хотелось ему думать об этом «лучше уж...» «Какой там лучше. Какого черта — лучше. Откуда он только свалился на мою голову, этот вислоухий Зимбай. Я и во сне никогда не видел слонов, а тут на тебе...»

...До чего же прихотлива жизнь — вот взяла и вдруг скрестила пути русского паренька Герасима Маркелова и африканского или индийского, — точно не знаю, — слона Зимбая. А для чего? С какой целью? Они ведь не всегда к добру, такие вот неожиданные причуды жизни. По себе знаю, что не всегда они радуют, — подумал я, заканчивая первую часть этой повести под понятным пока лишь мне одному названием «Четыре оранжевых и три черных слона».



Реваз ДЖАПАРИДЗЕ

ГРУЗИЯ И ГРУЗИНЫ

Известному грузинскому писателю и общественному деятелю Ревазу Джапаридзе, лауреату премии им. Ш. Руставели, исполнилось 60 лет.

Редакция и редколлегия «Литературной Грузии» сердечно поздравляют Р. Джапаридзе, одного из постоянных своих авторов, желают крепкого здоровья, новых творческих успехов.

Романы «Вдова солдата», «Тяжелый крест», многочисленные повести и рассказы, публицистические статьи, эссе и др. снискали Р. Джапаридзе любовь и признательность читателей в нашей стране и за рубежом. Эссе «Грузия и грузины», публикуемое в переводе КАМИЛЛЫ КОРИНТЭЛИ, написано для специального, посвященного нашей республике номера болгарского журнала «Факел».

«ГРУЗИЕЮ считается обширная страна (вся та), в которой церковную службу совершают и все молитвы творят на грузинском языке», — пишет Георгий Мерчуле, выдающийся грузинский писатель X столетия, автор широкоизвестного сочинения «Труды и подвиги достойной жизни святого и блаженного отца нашего архимандрита Григория, строителя Хандзта и Шатберди, и с ним многих блаженных отцов».

Главный герой произведения Георгия Мерчуле — выдающийся церковный деятель и просветитель вел свою душепользительную деятельность в Южной Грузии — Тао-Кларджети, строил обители, восстанавливал и возрождал очаги культуры, угасшие вследствие господства арабских завоевателей.

К тому времени Грузия, или Картли, как называли ее древние летописцы, была уже традиционной христианской страной и, несмотря на беспрестанные вражеские вторжения, бесчисленные кровопролитные войны и тяжелые внутренние распри, — страной высокоразвитой древней национальной культуры.

Новое религиозное учение — христианство уже с первых

же дней своего возникновения проникает в Грузию и распространяется сперва на западе страны, в Колхиде. Его проповедниками явились Андрей Первозванный и Симон Кананит. Они обратили в новую веру значительную часть населения Колхиды, но начавшаяся языческая реакция прервала их деятельность. Так же, как и в древнем Риме, власти прибегли к силе, и новообращенные православные вновь были возвращены в лоно язычества. Апостол Андрей успел покинуть пределы Грузии, а Симон Кананит погиб в горах Абхазии, где и предан был земле.

У истории свои капризы и закономерности. Должно было пройти еще много времени, прежде чем христианская религия, возникшая как защитница и поборница страждущих и обремененных, поправ древних языческих богов, окончательно утвердилась бы в Грузии и была бы объявлена государственной религией.

Произошло это в первой половине IV столетия, между 330 и 340 годами. К чуть более позднему периоду относится грузинская надпись в Болнисском Сиони, одном из первых христианских храмов Грузии, которая уцелела в бесчисленных бурях истории и сохранилась до наших дней. Более ранней является надпись в Вифлееме, в Палестине. Ученые обнаружили ее не так давно, и благодаря этому открытию возраст грузинской письменности передвинулся еще дальше в глубь веков.

«Картлис цховреба» — собрание древнейших грузинских летописей — приписывает честь создания грузинского государства и утверждения грузинского языка государственным языком освобожденной от ярма иноземных завоевателей страны царю Фарнавазу, жившему в первой половине III века до нашей эры. В сочинении историка XI века Леонтия Мровели, в основе которого, по предположению ученых, лежит не дошедший до нас древний источник, так и сказано: «Он (царь Фарнаваз) распространил язык грузинский, и не глаголили другим языком в Картли, кроме грузинского. И он создал письменность грузинскую».

Но означает ли это, что Иберия Фарнаваза была и вправду первым государственным объединением территории, населенной грузинами? Нет, не означает. Еще в XIII веке до рождения Христа, когда к восточным берегам Понта Эвксинского прибыли аргонавты за золотым руном и вместе с похищенным руном увезли отсюда дочь Айэта, прекрасную Медею, Колхида по преданию считалась богатым, сильным государством и имела многочисленное войско. Города, которые увидели здесь греки, удивили их великолепными дворцами. Археологические раскопки последнего времени подтверждают, что в конце II тысячелетия

до н. э. иберийцы и колхи выделялись своей высокоразвитой культурой.

Собрание летописей «Картлис цховреба» — далеко не единственный исторический источник сведений о жизни дохристианской Грузии, равно как и Грузии последующих веков. Сведения об этой стране, о грузинах, об отдельных грузинских племенах, их жизни, обычаях и культуре передают нам не только древнейшие легенды, но и сочинения отца истории Геродота, Ксенофонта, Страбона, Ариана, Аппиана, Прокофия Кесарийского и других. Сохранились вещественные доказательства того, что объединение двух государственных образований, сложившееся на территории Иберии и Колхиды, имело оживленные культурно-экономические связи как с Западом, так и с Востоком.

В начале новой эры императоры рабовладельческого Рима считали своим долгом признать мощь иберийско-колхидских царей и поддерживать с ними добрососедские дружеские отношения. Они отправляли богатые дары грузинским венценосцам и сами с радостью принимали от них ответные подарки.

Император Веспасиан (69—79 гг. н. э.) в знак дружбы возвел стену в стольном городе Иберии — Мцхета и на стене этой велел высечь следующую надпись: «Император Цезарь Веспасиан Август... трижды облеченный властью трибуна, четырнадцать раз провозглашенный императором... и император Цезарь Тит Август и Цезарь Домициан Август... построили эту стену другу Цезаря, возлюбленному римским народом царю иберов Митридату, сыну Фарсмана...»

Около ста лет спустя император Адриан прислал в дар иберийскому царю Фарсману II пятьсот легионеров и одного боевого слона. Через некоторое время Фарсман II с многочисленной блестящей свитой совершил путешествие в Рим. Фарсман и его приближенные устроили большие военные ристания в Риге, и император Антоний Пий, преемник Адриана, патриции и римский народ настолько были восхищены их искусством, что по велению Антония в храме Марса была воздвигнута конная статуя царя иберов.

По свидетельству античных источников, там, где река Фазис (ныне Риони) впадает в Понт Эвксинский (Черное море), в городе Фазисе (Поти) находилась так называемая «Гавань муз» — философско-риторическая школа, куда устремлялись даже из дальних стран, в том числе и из Греции, жаждущие овладеть науками молодые люди. В стенах этой школы учился и закалял свой ум известный философ и ритор Фемистий. Фемистий пишет, что

и отец его получил здесь образование и «приобрел свою мудрость».

Это было в IV веке, а пятым веком датируется первое дошедшее до нас произведение грузинской литературы, великолепный образец словесности — «Мученичество святой Шушаник», принадлежащий перу первого известного нам грузинского писателя Иакоба Цуртавели. 1500-летие этого памятника недавно широко отмечалось в Грузии.

В конце V века, во времена царствования основателя Тбилиси, отважного борца с персидскими завоевателями царя Вахтанга Горгасала, Грузинская церковь обрела автокефалию и иерархически окончательно отделилась от антиохийской церкви. Небольшое время спустя, в VI веке, из Месопотамии в Грузию пришли тринадцать сирийских отцов и при активной поддержке наследника Горгасала, царя Дачи и его потомков приступили к монастырскому строительству. Так были выстроены лавры: Мамадавид (на Мтацминда), Зедазени, Марткопи, Шиомгвиме, Алаверди, Некреси, Гареджи и др. В новых монастырях бурно развивается теологическая и научно-литературная деятельность. С греческого, сирийского, латинского, армянского и других языков было переведено множество богословских и философских трактатов. Деятели того периода уже обладали грузинским переводом Ветхого и Нового Завета. На эти же языки с грузинского переводились произведения грузинских ученых, богословов и писателей. Первыми грузинскими теологами, завоевавшими всемирную известность, были деятели V века Петр Ивер и Иоанн Лав, которые возвели на более высокую ступень теологическую мысль своей эпохи. Петр Ивер, сын иберийского царя, сперва был заложником в Константинополе, при дворе византийского кесаря, затем, достигнув совершеннолетия, постригся в монахи, отрекся от государственной деятельности и посвятил себя служению церкви.

Это тот самый Петр Ивер, который, согласно гипотезе Нуцубидзе—Хоннигмана, является автором сочинений ареопагитских книг Псевдо-Дионисия.

В последующем столетии, в середине VII века, в Грузию вторгаются арабы. Борьба против арабских полчищ не прекращалась ни на миг. Лучшие сыны отечества возглавляли эту борьбу и изъявлению покорности предпочитали смерть от вражеского меча. Народ признал святыми князей Аргветских — Давида и

Реваз Джапаридзе. Грузия и грузины.

Константина Мхеидзе, не покорившихся врагу, отвергших предложенные им почести и мученической смертью погибших в неравной борьбе.

Во второй половине X века завершается борьба за объединение Грузии, длившаяся долгие десятилетия и закончившаяся в царствование Баграта III присоединением к короне Багратиони большей части страны. К сожалению, Тбилиси и княжества Кахети и Эрети пока еще находились под властью врага. Страна быстро поднималась на ноги, из года в год рос ее международный авторитет. В связи с этим непременно следует вспомнить, что когда великий domestik Востока Барда Скляр поднял восстание и угрожал константинопольскому императорскому дому, греки направили в 979 году послов в Грузию к царю Тао Давиду Куропалату и попросили у него помощи в войне против взбунтовавшегося военачальника. Грузины не мешкая собрали и стправили в помощь единоверной Византии двенадцатитысячное войско во главе с Торнике Эристави, которое разбило превосходящее численно войско Барды Скляра и с победой возвратилось на родину.

В середине XI века в Грузию вторглись турки-сельджуки и началось новое кровопролитие. Жестокость дикого врага, постоянные неурожаи, эпидемии, безнаказанный разгул своих же феодалов грозили народу вырождением и гибелью.

В эту пору кровавых дождей на престол Грузии восходит юный царь Давид IV, которого народ назвал впоследствии Давидом Строителем. Под этим именем он и вошел в историю.

Прежде всего он подавил междоусобицу грузинских феодалов, противопоставил родовитой аристократии талантливых деятелей, вышедших из народа, и объединил под своей властью все Закавказье от Черного моря до Каспийского. Захватчики не смогли противостоять особо обученной новой армии. Один за другим пали сельджукские гарнизоны. Почти все Закавказье оказалось в руках Давида. Дружественные армяне просили защиты у могущественного царя, который был покровителем всех народов всех вероисповеданий, и плечом к плечу с грузинскими войсками освобождали родную землю. Столица Грузии Тбилиси, бывшая в ту пору столицей тбилисского эмирата, несмотря на военные успехи Давида Строителя, все еще находилась во власти врага. Царь не спешил. Он хорошо знал, насколько неприступен извне Тбилиси, и для того, чтобы выбить оттуда вражеский гарнизон, необходимо собрать крупные силы. Не дремал и тбилисский эмир. Он разослал скороходов по всему Ближнему Востоку и призвал мусульман выступить против «не-

верного грузинского царя». Было сколочено большое коалиционное войско. Согласно европейским источникам, оно насчитывало 600 тысяч человек, армянский же историк, очевидец войны, определяя численность войска сельджуков и их союзников, называет цифру 800 тысяч. Давид располагал гораздо меньшим количеством воинов. Его регулярная армия не превышала 40 тысяч человек. Битва произошла близ Тбилиси, у северо-восточных подступов к нему, на Дидгорском поле, в августе 1121 года. Следует упомянуть, что под знаменами Давида, плечом к плечу с грузинами сражался и отряд крестоносцев. Легендарная победа Давида Строителя в этой битве, когда на одного грузинского воина приходилось десять-двенадцать противников, взволновала и Запад, и Восток. Многострадальный Тбилиси после четырехсотлетнего господства иноземцев вновь стал столицей царства Грузинского. Давид Строитель перенес престол из Кутаиси в Тбилиси.

Как и большинство грузинских венценосцев, Давид IV был глубоко образованный, просвещенный монарх, прекрасно разбиравшийся в богословии, истории, в философии, литературе, риторике, логике, знал он христианскую и мусульманскую духовную литературу, был сведущ в музыке, в медицине и других областях науки и искусства, а также сам был блестящий поэт. Помимо родного грузинского, государственного языка объединенного Грузинского царства, он владел персидским, арабским и греческим. На досуге, когда таковой ему выпадал, и в походах царь не расставался с книгой, и где бы он ни был, при нем всегда находилась его походная библиотека.

В Западной Грузии, в Имерети, близ Кутаиси, Давид Строитель воздвигнул монастырский ансамбль Гелати и при нем основал академию и ксенон. В Гелатскую академию по приглашению Давида потянулись грузинские деятели, творившие в очагах культуры других стран. Среди них был выдающийся богослов Иоанн Петрици. Получив образование в Константинополе, он в течение почти двадцати лет вместе с другими грузинскими церковными деятелями вел плодотворную деятельность в болгарском монастыре Бачково, откуда и отправился на родину.

Бачково (Петрицони) был основан в 1083 году выдающимся грузинским деятелем, великим домостиком Запада, полководцем Византии Григолом Бакурианисдзе. Он составил и типик — устав монастыря на грузинском и на греческом языках. Оба эти типика, имеющие большое научное значение, сохранились до на-

ших дней и сделались предметом научного исследования. Петрицонский монастырь был очагом грузинской культуры. Согласно его типичу, преимущество для принятия туда и деятельности там отдавалось грузинским монахам. Этим преимуществом, установленным и узаконенным основателем монастыря, грузинские монахи пользовались в течение столетий и сохраняли его вплоть до того времени, когда Бачковским монастырем завладели другие.

Основание монастыря в чужой стране и развертывание там теологической и научной работы не было внове для грузин. С V—VI вв. в странах Ближнего Востока — Сирии, Палестине и соседней с ними Византии основывались очаги грузинской культуры. Широко известны Иверский монастырь на святой горе Афон, Крестовый монастырь в Иерусалиме, монастырь на горе Синае и много других монастырей, которые с течением времени были отняты у грузин, но, несмотря на это, там до наших дней хранятся грузинские фрески и надписи, а также — что важнее всего — богатейшие коллекции списков грузинских рукописей, которые не уцелели в не однажды разграбленной нашествиями и войнами Грузии.

Сила и авторитет объединенной Грузии, основу которой заложил Баграт III, еще более возросли в период царствования Дэметре, Георгия III, Тамар, Георгия Лаша. Грузинский царский дом превратился в один из богатейших и влиятельнейших. Этот период в истории Грузии, равный почти двум с половиной векам, вплоть до того, как на горизонте появились орды монголов, сотрясших всю Европу и Азию, а затем хорезмийцы и следом полчища Тимура, считается у нас «золотым веком». Он отмечен небывалым расцветом всех существовавших тогда сфер науки и искусства, дальнейшим усовершенствованием государственного строя и развитием международных отношений. Были возведены великолепные образцы грузинского зодчества: кафедральный храм царя Баграта III в Кутаиси, Светицховели и Самтавро в Мцхета, Никорцминда, Самтависи, Алаверди, Кинцхиси, Гелати, неповторимые творения в Нижней Картли и Месхети, дворцы царей и феодалов, крепости, замки, мосты, были проложены дороги.

Среди сохранившихся до наших дней памятников зодчества эпохи Давида Строителя и царицы Тамар выделяется высеченный в скалах город-крепость Тамар — Вардзиа. Расположенные по этажам несколько сотен залов и служебных помещений, среди них украшенная ценными фресками церковь Вардзийской Богоматери, ксенон, аптека, винные погреба — марани, зернохра-

нилиця и прочие хозяйственные помещения соединяются друг с другом лестницами и коридорами, искусно высеченными в скале. Этот город-крепость, возвышающийся над волнами Куры-Мтквари и таким образом практически совершенно неприступный, имел собственный потайной водопровод.

Историки и летописцы того времени сообщают нам, что великая царица Тамар именно отсюда, из Вардзии, повела грузинское войско в бой с новой мусульманской коалицией Ближнего Востока — румским султаном Рукнаддином. Как передают летописцы, сама Тамар с животворящим крестом в руках шла впереди своего войска. К сожалению, слишком труден для перевода текст того послания, которое Тамар, убежденная в своей вере и правоте, отправила в ответ на наглое письмо Рукнаддина и следом за этим посланием двинула рвущиеся в бой войска. Рукнаддину не помогли его бесчисленные отряды — грузины под командованием супруга Тамар царя Давида Сослани наголову разбили его на Басианском поле.

Именно к эпохе Тамар относится создание вершины грузинского поэтического слова, ныне переведенной на языки почти всех культурных народов мира поэмы «Вепхисткаосани» Шота Руставели. Тогда же создают свои шедевры Чахрухадзе, Саргис Тмогвели, Мосэ Хонэли. Храмы и дворцы украшаются творениями Бека и Бешкена Опизари, расцветает народная гимнография.

Одним из результатов политики Тамар было создание на южном побережье Черного моря, на территории, в то время населенной преимущественно древнегрузинскими племенами, прогрузинского государства — Трапезундского царства. На трапезундский престол взшел прямой потомок византийских императоров Алексей Комнин, родственник царицы Тамар, воспитывавшийся при грузинском дворе. Константинополь встретил воцарение Алексея Комнина со скрытым негодованием. Дело дошло до войны и позднее кончилось тем, что Алексей Комнин покинул царство и отправился в Болгарию.

Мощь грузинской короны, объединившей под своей властью весь Кавказ, удалось поколебать монголам, хотя для полного завоевания и покорения страны им не хватило сил. Сын Тамар, мужественный и отважный царь Георгий Лаша, только-только собрался выступить с сорокатысячным войском в крестовый поход за освобождение гроба господня, когда ему сообщили о появлении монголов. Сестра Лаша Георгия, Русудан, писала римскому папе: «Узнали мы от Вашего посла, находившего

Реваз Джапаридзе. Грузия и грузины.

ся в Дамiette, Ваш высочайший совет и приказ, дабы брат мой выступил в помощь христианам. Он также желал того же и готовился к выступлению, когда ужасные татары вошли в нашу страну».

Ужасные татары!..

В Грузии еще не знали, кто были монголы, откуда они появились здесь, кому они будут врагами и кому — друзьями. Для грузин все равно были татарами, все и каждый, кто поднимал меч против креста господня и кто с мечом приходил в их страну. Нашествий было достаточно и со стороны единовѣрных византийцев. Друг и враг Византия, пока хватало ей сил выдерживать бешеный натиск сельджуков, стремилась к расширению своих границ и неудержимо двигалась к востоку. Мечу предшествовали подкупы и выдуманные Константинополем почетные титулы. Многие грузинские цари носили звучные титулы куропалатов, севастов, ипатов, дарованные византийскими императорами.

Коль скоро мы упомянули Дамiette, приведем здесь и слова Жака де-Ветра, представителя папского легата, кардинала Пелагиуса, автора «Истории Иерусалима».

Жак де-Ветр встретился в Дамiette с послами Лаша Георгия. Вот что пишет он по этому поводу: «...Грузины весьма храбры и отважны в бою, сильны, могущественны бесчисленным количеством воинов. Их страшно боятся сарацины, они часто причиняют ущерб своими набегами персам, мидийцам и ассирийцам, с которыми граничат, со всех сторон окруженные неверными. Они называются георгианами, поскольку особо почитают святого Георгия, коего считают своим покровителем и знаменосцем в войнах с неверными и воздают ему почести более, нежели прочим святым. Всякий раз, когда они совершают паломничество ко Гробу Господню, входят в святой город с развернутыми знаменами и никому не платят дани. Сарацины никак не осмеливаются их тревожить, ибо, возвращаясь на родину, они могут отомстить их соседям-сарацинам. Их благородные женщины, подобно амазонкам, с оружием в руках сражаются плечом к плечу с рыцарями...»

Монголы совершили несколько походов и понесли значительные жертвы, но не смогли сокрушить военную и экономическую мощь грузин. Царь Лаша Георгий погиб при таинственных обстоятельствах. На престоле сидела сестра царя, Русудан, когда в страну вторгся хорезмшах Джалал-эд-Дин. Он взял Тбилиси и подверг его страшному разрушению. Под ногами захватчиков горела земля. Потому и пришлось хорезмшаху очень

скоро убраться из Грузии. И снова пришли монголы, произвели перепись населения и потребовали огромную дань. Беспомощная царица Русудан, мало что унаследовавшая от своей великой матери Тамар, укрылась в горах, затем бежала в Западную Грузию. Некоторое время, до поры, пока двоюродные братья Давид-Улу (старший) и Давид-Нарин (младший) не вернулись на родину из Золотой Орды, утвержденные там на царство, страна пребывала без царя. Ею правил поставленный монголами Эгарслан Бакурцихели.

Высородные грузинские князья — дидэбулы составили заговор, принесли клятву верности и решили в назначенный день и час со своими войсками вступить в схватку с монголами. Заговорщики были преданы. Ночью все дидэбулы были схвачены, связаны и отправлены по дороге к югу, к древней столице Армянского царства Ани. Была середина лета. Стояла страшная жара. Никакие допросы и пытки не принесли желаемого результата. Заговорщики не признавались и утверждали свою невиновность — дескать, мы собрались в крепости Кохта для того, чтобы посоветоваться, как лучше выплатить наложенную вами дань. Монголы раздели пленников доната и оставили на солнце-пеке. Тогда прибыл один из западногрузинских князей Цотнэ Дадиани, который из-за дальности расстояния опоздал с войском к месту сбора и, естественно, не оказавшись с заговорщиками, не был арестован. Цотнэ не колеблясь, по своей воле, также разделся, как и другие его сотоварищи, и лег рядом с ними. Монголы остолбенели от изумления. Ничего подобного никогда им не доводилось ни видеть, ни слышать. Трудно сказать, пробудились ли сострадание и человеколюбие в их сердцах, но факт остается фактом: когда и из уст Цотнэ они услышали то же утверждение, что и от остальных, они развязали путы на пленниках и отпустили всех на свободу.

Грузия фактически была поделена надвое, хотя юридически этот раздел произошел несколько позднее. На востоке воцарился сын Лаша Георгия, царевич Давид, на западе — Давид, сын Русудан. Обоим царствам отныне приходилось в отдельности отражать нападения врага. Лишь в XIV веке могущественный и дальновидный царь Георгий Блистательный изгнал монголов из пределов Грузии, восстановил единство царства Грузинского в его прежних границах, бывших при Давиде Строителе и царице Тамар, и заложил основы его возрождения. Внутренняя раздробленность и междоусобица в конце концов обратили в

прах патриотические деяния Георгия Блистательного. Два дракона Востока — Персия и Турция — по заключенному в Амасии в 1555 году мирному договору разделили меж собой Грузию на сферы влияния. Восточная оказалась под влиянием Персии, Западная — под влиянием Турции. Однако это ни в коем случае и никому не следует понимать так, будто турки либо персы сумели полностью покорить и подчинить себе грузинский народ. На это указывает хотя бы то обстоятельство, что мусульманские захватчики не сумели заставить грузин изменить своей вере, обратить их в мусульманство, не сумели заставить их отречься от святых традиций предков и, главное, не смогли уничтожить институт грузинских царей. Турция, правда, силой оружия добилась частичного омульманивания Месхети, порубежной с ней провинции, древнейшей колыбели грузинской национальной культуры, родины великого Руставели. Месхети была объявлена Гурджистанским, или Чилдирским вилайетом. Вся остальная Грузия не складывала оружия и продолжала непримиримую и неуклонную борьбу с захватчиками. Грузинские цари и феодалы сами возглавляли восстания и ни на минуту не прекращали явной и тайной борьбы за полное освобождение родины. В ту пору многие грузинские цари, царицы и знатные феодалы, а также влиятельные и именитые дворяне, вынужденно находившиеся в Иране и Турции, занимали там большие должности при шахском и султанском дворах. Цари Георгий XI, Вахтанг VI, Теймураз II, Ираклий II, царицы Леван, Кайхосро в разное время были полководцами шахской армии.

Внешнее и внутреннее положение Грузии особенно осложнилось тем, что османы положили конец Византийской империи. 29 мая 1453 года над Константинополем взвилось турецкое знамя. И теперь уже перекрыты были все пути, связывавшие Грузию с культурным Западом. Грузинские цари обратили взор к северу. Первым отправил посольство в Москву кахетинский царь Александр. Вскоре в ответ на это прибыли послы русского царя с богатыми дарами. С тех пор русско-грузинские деловые взаимоотношения не прерывались, несмотря на то, что с одной стороны Иран, а с другой — Турция условием добрососедских отношений с Грузией ставили прекращение всяческих связей ее с Россией. Усилилось преследование православия. Соперничающие меж собой суннитская Турция и шиитский Иран хорошо понимали, что православие служило мостом для Грузии и России, и чем скорее бы они разрушили этот мост, тем скорее удалось бы повернуть лицом к югу грузинских царей.

В Иране замучили кахетинскую царицу Кетеван. Царица не склонилась головы перед грозным Шах-Аббасом, не отступилась от дедовской веры, что равно было измене родине, и приняла мученическую смерть от руки палача.

Во времена Надир-шаха, в сороковых годах XVIII века, Картли и Кахети независимо друг от друга добились самостоятельности, а еще через некоторое время объединились под скипетром Ираклия II и обратились в грозную силу для ослабленного династическими войнами Ирана. В 60-х годах того же столетия турецкий султан был вынужден признать государственную независимость Имерети — Западной Грузии и прислать имеретинскому царю Соломону I (Соломону Великому), непримиримому борцу против турецкой экспансии, знаки царского достоинства. В Кутаиси их самолично доставил бегларбег Гурджистанского вилайета.

Дело на том не кончилось. Грузинское объединенное войско трижды предприняло походы в насильственно омусульманенную Месхети, но кровопролитные сражения желаемого результата не принесли. В 1828 году центр вилайета, город Ахалцихе, со своими 10 санджаками, равными примерно половине древней Месхети, заняли объединенные русско-грузинские войска под командованием генерала Паскевича.

Но перед присоединением Грузии к России, что произошло в 1801 году, страну, точнее, ее восточную часть — объединенное Картл-Кახетинское царство, постигло страшное несчастье. Иранский шах Ага-Магомед-хан, требовавший от грузин прекращения всех связей и контактов с северным соседом, воспользовавшись выводом русских батальонов из Грузии, напал на Картл-Кახети и в кровопролитной борьбе, к которой добавилась измена изнутри, разбил поседевшего в славных сражениях царя-воина Ираклия II. Это произошло в 1795 году. Роковая битва у врат Тбилиси, решившая судьбу города и всей страны, вошла в историю под названием Крцанисской. Кровь лилась ручьями. Мирное население, уцелевшее в этой бойне, угнали в плен, чтобы по старинному обычаю продать на невольничьих рынках Востока. Церкви были поруганы, превращены в конюшни. Разрушили, сравняли с землей дворцы. Улицы и переулки были усеяны трупами, которые некому было хоронить. Город был объят огнем, пожиравшим достояние всех жителей без разбора.

Хотя победа была полная и несомненная, Ага-Магомед-хан, опасаясь мести грузин, приказал срочно отступить. Но смерть

все-таки настигла его: он умер в собственном шатре от руки убийцы.

После этой трагедии Ираклий II прожил три года. И за этот короткий срок он сумел поднять страну на ноги. Царевич Георгий, его наследник, возобновил переговоры с русским царским двором. В основу переговоров лег заключенный в 1783 году в северо-кавказской крепости Георгиевский трактат, согласно которому Грузия, вернее, Картл-Кахети, входила под протекторат России.

Тем временем убили императора Павла I, на престол взошел его сын Александр, который особым рескриптом объявил о присоединении Грузии к России. Год спустя, когда скончался последний царь Грузии, сын Ираклия II Георгий, институт грузинских царей был упразднен. Государственное управление перешло в руки русского военного ведомства. Судебное делопроизводство также было полностью переведено на русский язык. Отсюда начинается новая страница в жизни грузинского народа, который оказался перед лицом новых, очень важных проблем. Вновь открылись двери западной культуре, теперь уже через Россию, вступившую на путь прогресса. Часть грузинской аристократии поступила на службу русскому царю, другая часть облачилась в военные мундиры, многие устремились в университеты и институты России и Западной Европы. Грузины и до этого времени состояли на службе у русского царя. Из них первым следует упомянуть сына имеретинского царя Арчила царевича Александра, друга юности Петра Великого, фельдцейхмейстера, первого военачальника русской артиллерии, который попал в плен к шведам во время русско-шведской кампании и, возвращаясь в Россию после долгих лет плена, умер в пути. Затем — еще один Багратиони, также потомок царей грузинских, Петр, генерал от инфантерии, командующий арьергардом и затем правым крылом русских войск в отечественную войну 1812 года. Царевич Теймураз, историк и филолог, внук царя Ираклия II, первый грузин, который стал членом Российской академии наук. Там же вели научную деятельность его братья. Деятельность царевичей, особенно Теймураза, привлекла внимание европейских ученых, в частности французца Мари Фелисите Броссе, считавшего себя учеником Теймураза. Мы, грузины, благодарны за его деятельность в области истории и искусства Грузии. У Грузии было много таких бескорыстных друзей среди иностранцев, и сегодня их также немало, и имена их всегда упоминаются в одном ряду с лучшими ее сынами.



Книгопечатание в Грузии возникает в XVIII в. Для страны столь древней и развитой культуры это, пожалуй, поздновато, но, вероятно, немалую отрицательную роль сыграли в этом, как и во всем прочем, постоянные войны с захватчиками, спокон веку посягавшими на свободу грузинского народа и на его территорию. Примечательно, что первая грузинская печатная книга была издана в Риме в 1629 году. Это — итало-грузинский словарь, которым пользовались в Грузии итальянские миссионеры. В составлении и издании словаря деятельное участие принимал известный грузинский церковный деятель, отправленный кахетинским царем Теймуразом послом к римскому папе, Никифорэ Чолокашвили, или Ирбах. В начале XVIII века грузинские книги издал находившийся в Москве царь Арчил, отец погибшего в плену царевича Александра, а в 1709 году племянник Арчила, картлийский царь Вахтанг VI, книжник и общественный деятель, основал в Тбилиси первую грузинскую типографию. Одной из первых напечатанных здесь книг была поэма «Вепхисткаосани». Это — научное издание, сверенное с рукописными списками.

Типография, к сожалению, просуществовала всего пятнадцать лет. Турки, укрепившись в Месхети, стремились продвинуться к Внутренней Картли. Царь Вахтанг VI, все свои силы отдавший делу культурно-экономического расцвета страны, современник Петра Великого (на помощь которого он так надеялся), когда провалилась так называемая Персидская кампания и русское войско, дойдя лишь до Астрахани, вернулось на родину, вынужден был с многочисленной свитой убыть в Россию, где в ожидании военной помощи он и умер.

В эпоху Вахтанга творили выдающиеся писатели Давид Гурамишвили, автор бессмертного «Давитиани», и Сулхан-Саба Орбелиани, автор «Книги о мудрости вымысла» и грузинского толкового словаря «Ситквис кона».

Это тот самый Орбелиани, который до отъезда в Москву совершил путешествие в Европу по поручению царя Вахтанга с особой миссией, сперва к римскому папе, затем во Францию к королю Луи XIV. Он ознакомил их с бедственным положением христианской Грузии, изнемогавшей в борьбе с Турцией и Персией, не говоря о прочих врагах, и просил об оказании материальной помощи своей стране. Ватикан и Версаль приняли с почестями убежденного сединами просвещенного старца, однако расходовать

Реваз Джапаридзе. Грузия и грузины.

деньги казны ради защиты далекой незнакомой страны сочли бесперспективным, и посол грузинского царя вернулся домой ни с чем.

Это произошло в то самое время, когда на небосклоне Персии взошла звезда Надир-шаха и на арене истории появились отец и сын Теймураз и Ираклий, кахетинские Багратиони, сыгравшие в дальнейшем значительнейшую роль в обретении брошенной на растерзание османов Картл-Кахети своей государственной независимости. Теймураз по древнегрузинскому обычаю был помазан на царство в кафедральном храме Светицховели, а его сын Ираклий, к тому времени уже царь Кахети, был любимейшим полководцем Надир-шаха. Они вместе совершили поход в Афганистан и Индию, достигли и нынешнего Пакистана, вместе завладели иранским тронном. Ираклий командовал авангардом огромной армии и в знак благодарности получил от Надир-шаха полагающийся ему по наследству кахетинский престол.

Это тот самый Ираклий, о котором прусский король Фридрих Великий говорил, что «на Западе — я, а на Востоке — Ираклий», многоопытный полководец, прошедший более ста войн, монарх, восстановивший разоренную дотла страну после турецко-персидских нашествий, возродивший в Восточной Грузии торговлю и ремесла, покровительствовавший театру и поэзии. Он чеканил свои деньги, создал регулярную армию, отливал пушки на собственном оружейном дворе, вернул многострадальному царству былое величие и в конце своего царствования заключил Георгиевский трактат с императрицей Екатериной.

Это событие произошло в 1783 году. Тогда еще никто не предполагал, конечно, что спустя двенадцать лет Иран вновь окрепнет и вторгнется в Грузию, разорит и опустошит Картл-Кахети, возрожденную и отстроенную трудами Ираклия II.

После присоединения к России разгул захватчиков в Грузии прекратился. Это было самым важным достижением.

В конце 60-х годов XIX в. в Грузию возвращается молодежь, получившая образование в российских университетах, горящая страстным желанием действовать и служить родине, так называемые «тергдалеули». Представитель этого поколения Илья Чавчавадзе — в дальнейшем признанный отцом нации — великий писатель и общественный деятель, воспитанный на идеях русских демократов, поднял знамя национально-освободительного движения. Нарушилась инерция, видимое равновесие, длившееся вот уже десятки лет. Ветер обновления, ураган обновления пронесся над Грузией. Возродился грузинский театр, начали издаваться

грузинские газеты и журналы. Илья Чавчавадзе собирал вокруг себя все здоровое, жизнеспособное, все лучшее, что существовало в современной ему Грузии.

В последнее двадцатилетие века в Грузии распространяется марксизм. Создаются марксистские кружки и группы. Марксизм постепенно охватил массы. Выступления 1905 года в Грузии приняли особенно острую форму. К социальному угнетению здесь прибавлялось национальное угнетение, и социальное освобождение для Грузии было провозвестником национального.

Революция 1905 года была побеждена. Страна покрылась виселицами, или, как тогда горько шутили, столыпинскими галстуками. Лучшие сыны Грузии были сосланы на вечную каторгу.

В 1907 году убили 70-летнего Илью Чавчавадзе. «Что вы делаете, безумцы, — успел сказать он своим убийцам, которых принял за обыкновенных грабителей. — Ведь я — Илья!...» «Тебя-то мы и ищем», — ответили они и выстрелили ему в лоб. Пуля, оборвавшая жизнь отца народа грузинского, и по сей день хранится в его музее. На нее с необыкновенным волнением взирает каждый грузин, и сердце переполняет чувство горечи.

Смерть Ильи словно отрезвила народ, зажгла жаждой новых боев не на жизнь, а на смерть. В свержении ненавистного царя и всей бюрократически-полицейской империи сыны грузинского народа приняли самое активное участие. Тюрьма народов рухнула.

В России началась гражданская война. Международная реакция не так-то легко отступилась от российского царизма. Судьба завоевания революции — Советской власти, у кормила которой стоял Ленин, висела на волоске.

Грузия, Армения и Азербайджан, соседствующие друг с другом три страны, оказавшись свободными, сперва создали Закавказский сейм, затем каждая из них объявила свою независимость и сама стала решать свою судьбу. Об этом тотчас проведаль капиталистический Запад. В Поти и Батуми — главные морские порты Грузии на Черном море — прибыли немецкие, а затем английские корабли. Киты империализма стремились завладеть сферами влияния в Закавказье. Снова насторожилась Турция.

В 1918 году стараниями выдающегося ученого и общественного деятеля Иванэ Джавахишвили был открыт Тбилисский госу-

Реваз Джапаридзе. Грузия и грузины.

дарственный университет, наследник и потомок основанных в XII веке Давидом Строителем Гелатской и Икалтойской академий.

Как и тогда, восемьсот лет назад, устремились к голодной, разоренной мировой войной родине грузинские ученые, работавшие в университетах России и Европы. Они начали составлять учебники на родном языке, читать лекции и вынесли на мировую арену грузинский язык, претерпевший преследования во времена царизма.

Тбилисский оперный театр ставит первую грузинскую классическую оперу Захария Палиашвили «Абесалом и Этери». Премьера ее превратилась в национальный праздник. Открылись консерватория, академия художеств, исторический музей Грузии. Новые мотивы зазвучали в грузинском театре, имеющем богатые традиции. Были сняты первые грузинские кинофильмы, первые ласточки всемирного признания грузинского кинематографа...

Все эти благотворные тенденции с большей силой и интенсивностью проявились после 1921 года, когда в Грузии установилась Советская власть. Республика превратилась в страну с сильно развитым сельским хозяйством и промышленностью. Примечательно и то обстоятельство, что число вузов Грузии при более чем пятиmillionном населении достигло двух десятков. В 1941 году, к началу Великой Отечественной войны, в Тбилиси была открыта Академия наук Грузии. Уже давно заслужили мировое признание математическая школа Мухелишвили, физиологическая — Бериташвили, психологическая — Узнадзе, картвелологическая — Шанидзе, которые имели и имеют множество последователей и учеников в Советском Союзе, Европе, Азии и Америке. Грузинским ученым принадлежат большие заслуги в различных областях науки. В Тбилиси как одном из центров изучения той или иной научной проблемы проводятся представительные форумы, всемирные конференции и конгрессы.

За этот период необычайно обогатился и развился грузинский язык, имеющий древнейшие литературные традиции. На этот язык, кроме того, что на нем создана и продолжает создаваться глубоко самобытная грузинская литература, переводится почти вся мировая литература.

Как и для всех народов мира, особенно же советских народов, вторая мировая война для Грузии явилась огромным бедствием и оставила незаживающие раны. 650 тысяч воинов, среди них совсем юные девушки и юноши ушли из Грузии на фронты Великой Отечественной войны. Половина из них не вернулась

домой. Села, деревни, города республики усеяны памятниками военной славы.

Грузия — страна не только лозы, чая, стали и полезных ископаемых, но и страна книги. Книга в Грузии издревле пользуется огромным почтением и любовью. Читают все — большие и малые, люди всех профессий, все с одинаковой жадной и увлечением стремятся к книге. Это доказывает хотя бы тот факт, что поэма «Вепхисткаосани» Шота Руставели, издание которой осуществляется через каждые три-четыре года сотысячными тиражами, расходуется тотчас без остатка. Тридцати-сорокатысячными тиражами выходят произведения лучших грузинских поэтов — как классиков, так и современных. Проза же имеет гораздо большие тиражи.

Сегодня слава о Грузии, о ее культуре, науке, искусстве идет далеко, и поэму Руставели читают на родном языке народы всех пяти континентов мира. Грузинская кинематография является одной из лучших в Советском Союзе, и грузинские фильмы с интересом встречают во многих странах мира, коллективам грузинских театров и хореографических ансамблей с восторгом рукоплещут Москва и Нью-Йорк, Варшава и Прага, Сидней и Буэнос-Айрес, Оттава и Дели, а произведения грузинских художников украшают знаменитые выставочные залы и галереи мира.

Такова в общих чертах древняя и вечно молодая Грузия, выстоявшая в огне и бурях долгих столетий борьбы и не утратившая своего лица, несмотря на жестокие попытки многих и многих врагов завоевать ее и поработить.



Гурам БАТИАШВИЛИ

ИССЛЕДУЯ ДУХОВНЫЙ МИР ЧЕЛОВЕКА...

ПРОДУКТИВНОСТЬ не всегда отражает подлинную суть писателя. Нередко за пределами общего понимания малой продуктивности таится неустанный труд, борьба за слово, поиски максимально верного выражения смысла произведения, его идеи.

В истории литературы известны примеры того, как писатель, создавший одно-единственное произведение, переживает века, и наоборот, автор, к примеру, двадцатипьес недолго остается в памяти поколений.

С Тамазом Чиладзе как с драматургом мы познакомились в начале 60-х годов. С тех пор в течение двадцати лет им написано шесть пьес. Мало? Вероятно... Однако его «малая продуктивность» свидетельствует лишь о серьезной и кропотливой работе, о предельной строгости к себе. В одной из частных бесед он как-то признался мне, что им было написано шесть вариантов пьесы «Гнездо на девятом этаже». Т. Чиладзе относится к слову, к фразе с предельной осторожностью. Драматургическая реплика для него не только выражение внутреннего мира героя или же его сиюминутного психологического состояния. Автор придает ей такое же значение, как поэт — строке. Он стремится к тому, чтоб фраза бы-

ла поэтической, емкой, богатой и в то же время короткой. Лишь в пьесе «Гнездо на девятом этаже» драматург изменил своему принципу построения диалога (в данном случае вернее было бы сказать — монолога).

Сегодня мы можем говорить уже о драматургической биографии Т. Чиладзе. Десять лет назад он был автором трех пьес, две из которых — «Убийство» и «Забятая история» прочно связали его имя не только с грузинской драматургией, но и вообще с грузинским театральным искусством.

Эти пьесы стали фактом нашей литературной жизни, привлекли внимание широкой зрительской и читательской аудитории благодаря значительности затронутых в них проблем.

Роль писателя (и драматурга, в частности) заключается в полнокровном и правдивом воспроизведении действительности. Однако очень важно, насколько ему удастся обобщить конкретное, насколько глобальна затронутая им тема (или проблема). Вот почему не может быть поистине актуальным сегодня то, что не вызовет у нас интереса завтра.

Юстинас Марцинкявичюс в беседе с критиком Евгением Сидоровым говорил, что рассказывать о современности надо так, чтоб в ней был «момент вечности». Синтез современности и «вечности» необходим не только в прозе, но и в поэзии. И тем более необходим он в драматургии. Именно благодаря этому синтезу дошли до нас драматургические произведения, созданные в разные века.

Есть проблемы, которые всегда волнуют человечество. Это извечные проблемы человеческих взаимоотношений — любовь, борьба добра со злом, вопросы нравственности. Вот почему нам понятен духовный мир героев далекого прошлого, вот почему мы не можем остаться равнодушными к не смирившемуся с судьбой Эдипу или Антигоне, к задумавшемуся над смыслом жизни Гамлету, к наделенной сильнейшими человеческими страстями Медее и многим другим.

К драматургии писатель нередко обращается в пору зрелости (не случайно ее называют «венцом поэзии»), пройдя школу прозы или поэзии (разумеется, и здесь бывают исключения, но за критерий их брать не следует).

Тамаз Чиладзе пришел в драматургию уже как признанный поэт и прозаик. Его рассказы не только сыграли определенную роль в развитии современной грузинской прозы, но и стали своего рода школой для творческого роста последующего поколения молодых писателей.

Подобное преобразование поэта и прозаика в драматурга, конечно же, было неожиданным и интересным. И не только с творческой точки зрения, но и с профессиональной. Первые же пьесы заставили Тамаза Чиладзе отказаться от многого из того, чего он достиг как прозаик, он как бы заново рождался как писатель. Средства выражения в драматургии если и не противопоставлялись средствам выражения в прозе, то во всяком случае исключали друг друга. Творческий арсенал, необходимый для определенного уровня мастерства в прозе, в драматургии мог служить лишь литературным опытом. Писателю, обратившемуся к драматургии, приходилось работать в ином жанре, требовавшем совершенно иного арсенала средств выражения, совершенно иной техники.

Из истории литературы нам известны примеры поражения в драматургии хороших поэтов и прозаиков, вызванного в основном недраматургической системой мышления. Ведь образное мышление в поэзии одно, в прозе — другое, и совсем иное — в драматургии. Поэтому, на наш взгляд, правомочно мнение (на то дает нам право проза Т. Чиладзе, созданная им после пьесы «Убийство»), согласно которому работа в прозе принесла Тамазу Чиладзе большой литературный опыт, определила и выявила его творческие стремления, выработала культуру литературного труда, одним словом — создала писателя, а драматургия вывела на новую высоту мастерства. Ибо синтез опыта работы в двух этих жанрах помог ему достичь качественно новой ступени в драматургии, в которую он пришел со своей темой, с определенным кругом проблем, твердо овладев спецификой нового для него жанра.

Вот откуда в его пьесах отточенный, действенный диалог, яркие ситуации, четкость действия и лапидарность.

С первых же шагов своей драматургической деятельности (в пьесах «Убийство» и «Забывтая история») Т. Чиладзе заявил о себе как последователь чеховской драматургии. Не отступил он от нее и впоследствии, к примеру, в пьесе «Гнездо на девятом этаже», для которой также характерна сложнейшая классическая драматургическая форма.

Написанная в конце 60-х годов пьеса «Убийство» ярко отразила картину тех лет, придав при этом проблемам современности звучание поистине вечных проблем.

Мы с полным правом можем утверждать, что первыми своими пьесами Т. Чиладзе являл пример того, как писатель должен говорить правду, ибо именно в этом заключается его функция как врача общества.

«Драмой слепого добра» назвал эту пьесу Акакий Бакрадзе еще тогда, когда решался вопрос о сценической жизни данной пьесы на сцене Руставского театра. В этих словах Ак. Бакрадзе — ключ к раскрытию основной темы «Убийства». Тем самым акцент перенесен с отрицательного персонажа — Гайоза — на жертву разыгранной в пьесе драмы — Георгия Сихарулидзе. Однако считать Георгия жертвой Гайоза значило бы понимать пьесу примитивно. Не Гайоз убил Георгия Сихарулидзе, его убила атмосфера, царившая вокруг него, атмосфера лжи и стяжательства. Гайоз же — продукт этой атмосферы, активный выразитель ее стремлений. И как человек талантливый он ярче других выражает черты своего общества.

На протяжении всего действия Гайоз, казалось бы, сеет вокруг себя только добро. Он всем помогает, всех понимает, но несмотря на это — чужой для нашей общественной формации.

Вот почему столь естественно звучат в пьесе реплики Георгия Сихарулидзе: «Кто такой Гайоз?», «Разве Гайоз способен на что-нибудь?» и т. д.

И вправду, каким образом Гайозу все удается? Если мы проанализируем его образ, то убедимся, что суть его природы именно в слепой доброте, на которую указывал Акакий Бакрадзе и которая в единении с его талантом, инициативностью, энергичностью оборачивается злом для общества. Беда в том, что Георгий Сихарулидзе не знал этого, но, постигнув суть творимого Гайозом «добра», кончает самоубийством.

Несмотря на разыгранную в ней драму, пьеса все-таки обнадеживает, вселяет веру в человека, в добро, в справедливость. Но сколько людей покидают мир, так и не познав этого! Ведь познание родило бы протест, как это и случилось с Георгием Сихарулидзе. А вместо протеста и неприятия наблюдается иное явление — гайозы размножаются, плодятся, становятся чуть ли не нормой бытия, принимают личину добропорядочности. Таковым считают Гайоза почти все персонажи пьесы до тех пор,

Гурам Батишвили. Исследуя духовный мир человека...

пока смерть Георгия Сихарулидзе не ставит перед ними вопрос — что же все-таки составляет сущность Гайоза? Гайозы стали нормой жизни, а норма редко вызывает протест.

Существенное достоинство пьесы Т. Чиладзе в том, что она не утрирует вопрос о появлении таких «типов», как Гайоз. Автор пытается проникнуть в суть проблемы, утверждая, что гайозы возникают не сами по себе, их создает окружающая атмосфера.

Каковы люди, окружающие Гайоза? На какой почве он процветает?

Каждому из персонажей пьесы чего-то недостает в жизни, каждого мучает чувство неудовлетворенности — одному нужна квартира, другому — могильный камень, третьему — устроиться на работу. И вот неустроенная жизнь приводит людей к Гайозу. И он в слепой своей доброте пытается удовлетворить просьбу каждого, тем самым возвеличивая себя в глазах этих людей. Вот где истоки всесия Гайоза. Если бы все члены общества честно служили своему делу и довольствовались заслуженным, то не было бы и Гайоза, и более того, не было бы надобности в его институте.

Если мы рассмотрим каждый персонаж в отдельности, сущность каждого из них, возникнет еще один вопрос — а может, Гайоз меньше всех виновен в происходящем, ибо окружающие люди обусловили и его возникновение, и его существование как типа. Это предположение подсказывает нам финальный диалог Гайоза и Георгия. (Гайоз: «Можно сказать, что ваше бессердечие, ваша кристальная порядочность довели Гурама до тюрьмы, кто поверит, что вы руководствовались высокими принципами? А вам следовало бы подумать о том, что когда перед ним закроются двери института, он останется на улице. Своей порядочностью вы, можно сказать, лишили счастья своих детей»). Трудно определить здесь сущность доброты и порядочности, чему они служат? Злу, именно злу, ибо это добро безотчетное, слепое. Поэтому Гайоз вправе отвергнуть претензии Георгия.

Хочу остановить внимание на эпизоде, раскрывающем с новой стороны характер Гайоза.

«ГАЙОЗ: Пэйдэм, Саломэ, пойдем, не бойся. Ты ничего не говорила родителям? Я не оставлю тебя!

МАРИКА: Саломэ!

САЛОМЭ: Да, у меня нет иного выхода.

НЕСТАН: Что ты говоришь?

САЛОМЭ: Я жду ребенка...»

Будь Гайоз начисто лишен совести, он спокойно и молча ушел бы из этого дома, показал бы спину Саломэ, ждущей от него ребенка. Поэтому спрашивается: кто повинен во всем — Гайоз или те, кто его породил? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно вспомнить предыдущий разговор Георгия и Гайоза:

«ГАЙОЗ: А сколько живут лучше вас, так ничего и не сделав в жизни?

ГЕОРГИЙ: Меня это не интересует.

ГАЙОЗ: А мне почему-то казалось, что это должно вас волновать».

Вот результат слепой доброты, абстрактной порядочности. Нас не волнует, почему одни живут лучше других, лучше тех, кто преданно служит большому и нужному делу. Конечно же, деятельность Гайоза противоречит образу жизни нашего общества, но Т. Чиладзе подобной постановкой вопроса борется не с Гайозом и ему подобными, его волнует более общая проблема — он борется с тем, что порождает гайозов. Произведение же лишь тогда становится фактом настоящей литературы, когда проблема ставится остро и глобально. (Я хочу вспомнить замечательную пьесу Е. Шварца «Дракон»: на протяжении долгих лет город мучал и терзал Дракон, но вот пришел народный герой Ланцелот, он убил Дракона, однако после этого ничего не изменилось, ибо живы еще корни зла, и место Дракона занимает другой).

Таким образом, героем пьесы «Убийство» является не Гайоз, а общество, в котором возможно появление подобных личностей, гораздо более для него опасных, чем известные рецидивисты, ибо зло, творимое им, растлевает души.

Но кто же те люди, с которыми борется писатель, что в их жизни, взаимоотношениях, критериях рождает в нас противоположные импульсы? Совершенно ясно, что Гайоз общественно опасный элемент, и естественно, среда, порождающая гайозов, еще опаснее.

Но дело в том, что ни один из персонажей «Убийства» (разумеется, кроме Гайоза) не рождает в нас активного протеста, начиная с Георгия Сихарулидзе и кончая домработницей Дороти. На первый взгляд, как внешне, так и внутренне, они не являются так называемыми отрицательными персонажами, хотя и видятся нам в черном свете, так как порождают гайозов — самый страшный элемент нашей общественной жизни. В этом проявляется мастерство писателя — он медленно, исподволь подво-

Гурам Батиашвили. Исследуя духовный мир человека...

дит читателя к выводу о том, что моральная чистота — понятие широкое, и если ты не убил, не украл, не солгал, это вовсе не значит, что ты нравственно чист.

В наше время заповедь добра получила и другие качества, придающие ей активные начала. Это дает нам право условно называть ее воинствующей добротой. Нужно обладать высокими нравственными критериями, чтобы доброта не обратилась во зло. Слепая доброта Георгия Сихарулидзе равнозначна злу. Житейская неустроенность остальных персонажей пьесы чревата опасностью превратить Гайоза в кумир. Почему он столь циничен с Георгием, почему в его репликах звучат нотки иронии? Потому что ему прекрасно известна психология общества, породившего его. Он талантливый человек! И поэтому пользуется слепой добротой окружающих его людей, чтобы удовлетворить каждого из них так, как им того хочется: Саломэ нужны иллюзии, она ими скрашивает реальность, которую предлагает ей мир Гайоза; молодой ученый Бадри хочет с его помощью получить квартиру; Элисабед благодаря ему оказала последнюю почесть своему покойному мужу (достала камень на могилу); Нуцико считает Гайоза звездой современной жизни, он помог избежать тюрьмы Гураму; Абесалом, который хочет перебраться в Тбилиси, тоже рассчитывает на помощь Гайоза и т. д.

Так Гайоз оказывается в центре внимания людей, различных по своим характерам, образованию, судьбам. И вот писательская совесть Тамаза Чиладзе призывает нас во время прочтения пьесы или же просмотра спектакля задуматься не над тем, каков Гайоз, не над тем, каких отрицательных персонажей вывел он на сцене, а над тем, что привело этих людей к Гайозу, почему, каким образом возникла личность, противостоящая нормам нашей жизни, и почему она так необходима людям.

Тезу эту Тамаз Чиладзе очертил в «Убийстве» довольно четко, и это, думается, подтверждает мастерство писателя, ибо она рождает чувство протеста как против гайозов, так и против норм морали, порождающих их.

В последующей пьесе Т. Чиладзе «Забятая история» порядочность и добро испытываются в сложных ситуациях. В отличие от первой пьесы добро здесь, так сказать, стоит на верном пути — оно борется. Доброта и честность воплотились в этой пьесе в образе конкретной личности — дедушки Матэ.

«Любите друг друга, не топчите хлеб и не предавайте ближних — пять тысяч лет твержу я одно и то же», — говорит дедушка Матэ, в уста которого автор вкладывает проповедь подлинной доброты. Дедушка Матэ не является главным героем,

однако образ его несет огромную нагрузку, он является как бы камертоном действий всех персонажей пьесы. С его помощью в ней всему дается своя оценка и становится очевидной суть подлинной и «слепой» доброты, то есть суть доброты Георгия Сихарулидзе и суть доброты дедушки Матэ.

Какие плоды принесла доброта Георгию Сихарулидзе, мы уже видели. Доброта дедушки Матэ иная, она не приносит людям зла, наоборот, выступает как защитник, советчик. Пример тому — судьба Эки. Она покидает город и семью брата потому, что духовная чистота дедушки Матэ, его нравственная сила помогли ей понять, куда катится семья брата. Она покидает ее, чтоб вместе с дедушкой Матэ вернуться в деревню, которая является в пьесе символом честности, естественности, чистоты и искренности. Взаимоотношения других персонажей настолько примитивны и вульгарны, что вызывают скорее жалость, нежели гнев.

Люди предают самих себя, предают любовь, призвание. Один мечтает о личной благоустроенности, другой вспоминает о любви только тогда, когда, на его взгляд, он добился основного в жизни — стал обладателем научного звания. Женщина любит одного, выходит замуж за другого, мужчина же, любя одну, берет в жены другую, не любя ее. Одним словом, человеческие взаимоотношения настолько порочны, что чистый душой человек не может выдержать их. И тем более отрадно, что такие люди, как Эка, являясь, по мнению автора, совестью нашего общества, не считают такие взаимоотношения нормой жизни. Наоборот! Значит, добро, порядочность, честность живы в нашем обществе, значит, именно они и являются нормами жизни нашей молодежи, а следовательно, и нашего будущего.

В пьесе каждый образ обрисован ярко, несет определенную функцию, будь то главное действующее лицо или второстепенное. И все-таки самый сложный образ — это образ Нодара. В нем ярко воплотились все те качества, которыми наделен человек, не желающий следовать нормам морали нашего общества.

Говоря о Гайозе, герое пьесы «Убийство», мы отмечали, что образ его жизни — полная антитеза нашему общественному укладу, но, приглядываясь к новому герою Тамаза Чиладзе—Нодару, этому «приличному интеллигенту», разглядев его сущность, понимаем, что в сравнении с ним Гайоз примитивен. Нодар — более утонченная, рафинированная личность, и если

Гурам Батишвили. Исследуя духовный мир человека...

Гайоза можно уличить, то Нодар буквально ускользает из рук. Он всегда добр, приветлив и никогда не оставляет следов содеянного. На нем постоянно маска добропорядочного, безобидного человека, он никогда не обостряет отношений, зато всегда хорошо знает, что необходимо предпринять для того, чтоб достичь желаемого результата. На каждом его поступке лежит печать нечистоплотности. Он спокойно воспринимает известие о том, что его жена любит другого, и в то же время предлагает свою сестру в жены человеку, который влюблен в его жену.

Тамазу Чиладзе удалось рассказать обо всем этом с завидным мастерством. Сцена эта представляется мне наилучшей не только в этой пьесе, но и вообще в грузинской драматургии последнего времени. И вот почему. В ней проявилось умение автора раскрыть сполна духовный мир героев и со всей откровенностью представить их на суд зрителя (или читателя). Драматург не сам выносит приговор (если не принимать во внимание того, что приговор звучит уже в том, как он раскрывает духовный мир личности), а дает возможность сделать это читателю.

Не менее страшен в своей примиренческой позиции Резо, человек, лишенный каких бы то ни было нравственных устоев. Резо безволен, инертен, он не может изменить ход событий, сказывать на них свое влияние, в то время как Нодару это под силу. Нодар отвратителен в своей сути, но он — личность, притом довольно сильная.

Особняком в пьесе стоит образ Эки, сумевшей в этом житейском хаосе обрести себя, понять цель и смысл жизни. Вот почему теперь уже она не боится таких людей, как Резо и Нодар. Ее отъезд в деревню с дедушкой Матэ — проявление солидарности и поддержки всех тех ценностей, олицетворением которых и явился он. Но если бы даже Эка осталась в городе, она все равно не пошла бы по пути, по которому шли Резо и Нодар, ибо твердо уверовала в то, что есть другой путь — путь добра и человечности.

Несколько слов о средствах, с помощью которых Т. Чиладзе пытается в этой пьесе раскрыть духовный мир персонажа, показать движение его души. Известно, что у прозаиков больше возможностей для этого, нежели у драматурга, в арсенале у которого очень ограниченные средства. Духовный мир героя должен раскрываться в диалогах, репликах, а не с помощью ремарок автора. Прозаик может посвятить целую страницу описанию духовного или физического состояния своего героя, может дать ему оценку, у драматурга нет этой возможности.

Специфика драматургии предельно учтена Тамазом Чиладзе. Он отказывается от ремарок, способных передать душевное состояние героя. Ремарки в «Убийстве» и «Забывтой истории» доведены до минимума. Настрой в пьесе создается постепенно, всей атмосферой, отражается в диалогах.

Пьесам «Убийство» и «Забывтая история» суждена долгая сценическая жизнь, поскольку в них заключены те «элементы вечности», о которых говорил Ю. Марцинкявичюс в беседе с Е. Сидоровым. Вот почему пьесы Тамаза Чиладзе спустя много лет дают возможность прочтения их по-новому, с позиций сегодняшнего дня.

Прошли годы, и в конце 70-х годов одна за другой публикуются пьесы «Гнездо на девятом этаже» и «Роль для начинающей актрисы», а уже затем осуществляются их постановки. Что означало столь долгое молчание Т. Чиладзе как драматурга?

Причину его открыли нам сами пьесы, в которых драматург достиг новых высот. Оказалось, все это время он упорно искал новые способы выражения драматургической формы — в обеих пьесах сюжет отрицается им как возможность развития действия.

Пьеса «Гнездо на девятом этаже» предельно проста по сюжету, зато чрезвычайно интересна по затронутой в ней проблеме. Здесь всего два действующих лица — Мака и Бесо. Но незримо присутствует и некто третий, тот, с чьей панихиды возвращаются Мака и Бесо и о котóром они говорят, выясняя свои взаимоотношения.

Тамаз Чиладзе избрал сложную форму выражения. Об этом свидетельствует хотя бы то, что диалоги он заменил длинными монологами, в которых раскрываются герои; мы видим, как отдалились они друг от друга, как близость стала для них привычкой.

«Любовь, по всему, это одноместная камера. Вдвоем мы в ней не уместаемся. Что нам делить? Каменный пол и каменные стены. Больше нечего. Мы даже забыли о том, что любили друг друга. А было ли это на самом деле?» — спрашивает Мака. Ни один из них не может понять, когда между ними кончилось все то, что называется любовью, и началось то, что называется исполнением долга перед любовью. А ведь они думали, что по-прежнему любят друг друга! Мака даже восклицает: «А любить не так уж и просто! Никогда не произносили мы этого слова. Что же произошло сегодня? Я боюсь этого слова...». Вот что

Гурам Батиашвили. Исследуя духовный мир человека...

здесь главное. Когда двух этих людей объединяла любовь, они не говорили о ней. Это было ни к чему, все и так было ясно. Но теперь, когда стало очевидным, насколько они опустошены, они прячутся за это слово, как прячется человек от ветра в ветхой лачуге.

Это одна из тем, лежащих, так сказать, на поверхности пьесы, но в ее подтексте прочитывается также и проблема одиночества людей, которые, судя по всему, должны быть обоюдно счастливы, потому что у них есть любимое дело, круг друзей и знакомых, им сопутствует успех в работе — но не это главное. Оказывается, нет единства, дарующего радость, делающего жизнь полнокровной. «Радость, вошедшая в привычку, перестает быть радостью», — говорит Мака. В этих словах истоки личного одиночества и вытекающей из него трагедии. Счастье в каждодневной борьбе за него, ибо конкретное счастье достаточно эфемерно и очень трудно поверить, что человек может быть счастлив в течение всей жизни. И вот однажды Мака усомнилась в своем счастье. Она вдруг поняла, что ее жизнь — обычное, прозаическое существование. По ее мнению, это произошло оттого, что любовь Бидзины, друга детства, ставшего впоследствии ее мужем, превратилась для нее в привычку. Он любил ее, «вот и все дела»... А ей, наверное, хотелось ослепительного блеска любви. Вот почему вокруг Маки сегодня холод, пустота, одиночество, которое не в силах заполнить ни Бесо (Мака обнаруживает, что и он куда-то исчез), ни ее привычные связи с окружающими людьми.

Драматизм положения Маки в том, что она не может решиться осуществить то, что считает необходимым и обязательным. А если она и решится, это будет лишь механическим исполнением долга. Сегодня она не имеет права плакать, потому что сама является косвенной причиной смерти Бидзины.

«Как странно, я пришла выразить соболезнование как обычная знакомая. Какая ужасная лестница, думала уже, что сна никогда не кончится... Пожала руку жене, как полагается, сочувствую, мол, вашему горю, она даже головы не подняла, поцеловала детей, обошла вокруг гроба. Нет, на него я не посмотрела, ничего не забыла, все правила предусмотрела, хотя только о том и мечтала, когда выйду оттуда... Ты скажешь, что я сумасшедшая, но я совершенно отчетливо расслышала, как он позвал меня, Мака, Мака, два раза подряд. Но я не посмотрела на него, не смогла, испугалась. Я с детства боялась покойников. Нет! Вру! Не испугалась, мне стало стыдно. Интересно, разве мертвые видят? Господи, спаси и помилуй! Я застыдилась мерт-

вого, позавидовала его жене, вот, думаю, какая я плохая, только о себе и думаю, себе во всем выгоду ищу. Разве не лучше было бы, чтобы я сидела у гроба, чтобы я принимала соболезнования, чтобы я утирала платком слезы! Тогда и я смогла бы смело смотреть всем в глаза и не мечтала бы о том, как побыстрее уйти отсюда, чтобы обрушился разом этот проклятый дом и все вместе, и живые и мертвые, оказались бы погребены под его обломками».

В этом монологе Маки выражена вся ее драматическая судьба, весь мир, в котором она живет. Нет сомнения в том, что сегодня, принимая соболезнования, она чувствовала бы себя увереннее и, как это ни парадоксально, счастливее. Она изменила Бидзине потому, что искала новой жизни, нового счастья— потому-то и стала любовницей Бесо. Мака вовсе не заслуживает осуждения (напротив, скорее ей можно посочувствовать). Достойна осуждения лишь категория ее мышления. Привычка принимать воображаемую жизнь за реальность привела к драматизму ее существования.

Какая роль отведена во всей этой истории Бесо? Кто он? Дух-искуситель? Во все нет! Все дело в Маке, в ее жизненной позиции — она поняла, что привычное счастье уже не приносит ей радости, и разводится с Бидзиной. Вот когда выходит на первый план Бесо. Т. Чиладзе изобразил его как символ, в котором выражается психология современного нам общества. Он устал от каждодневной, привычной жизни и разделил ее — по одну сторону жена и дети, понятие долга и порядочности, по другую— Мака, любовь и немного зависти и сожаления оттого, что другие создают более удачные проекты, нежели он сам, оттого, что между ним и его детьми возникла глубокая пропасть, оттого, что... Причин можно было бы назвать множество. Однако Бесо располагает к себе, располагает тем, что всегда остается самим собой, всегда откровенен — и в покаянии, и в столкновении с суровой действительностью.

Пьеса Тамаза Чиладзе кажется мне интересной еще и потому, что в ней, на мой взгляд, автор представлен как драматург-поэт. Большинство драматургических произведений строится в основном на разработке сюжета, на примате четкой обрисовки проблемы, и нередко отрицается понятие слова как художественного и поэтического феномена. Быть может, в этом и

Гурам Батиашвили. Исследуя духовный мир человека...

кроется одна из причин того, что пьеса, вызывающая интерес сегодня, вскоре теряет свою значимость. Т. Чиладзе же в своих пьесах заостряет внимание на слове, на художественной ценности фразы. Возможно поэтому столь нелегка сценическая судьба этих пьес сегодня, когда большинство театров отводит пьесе всего лишь одну основную функцию — выявление конфликта, действия. Но даже когда, наконец, осуществлена постановка по пьесе Т. Чиладзе, нередко ощущается уклон в сторону бытовой драмы. Ее ставят как произведение о банальном любовном треугольнике. Тамаз Чиладзе же принципиально относится к жанру пьесы прежде всего как к произведению литературному.

Таково же положение и со следующей его пьесой — «Роль для начинающей актрисы». Некоторые критики упрекали ее в банальности сюжета, в старомодности и т. д. Конечно же, подобная претензия может возникнуть, если рассматривать пьесу лишь с точки зрения сюжета. Но, как мы уже отмечали, миссия подлинного писателя не ограничивается только разработкой сюжета.

Проблема ответственности человека перед обществом не нова, но не менее важна и другая сторона этой известной проблемы, а именно — ответственность общества за судьбу личности, то, какое влияние должно оказывать общество на судьбу конкретного человека, как оно должно охранять его интересы, его внутренний мир.

Именно этой проблеме и посвящена пьеса Т. Чиладзе «Роль для начинающей актрисы». Ее героиня противопоставлена тому интеллигентному, избранному обществу, которое не должно быть равнодушно к судьбе человека. Т. Чиладзе выявляет причины того, что привело героиню к трагическому финалу. Равнодушие общества, каждый член которого заперся в своей скорлупе, его непричастность к судьбе ближнего. Но здесь важна и другая проблема, проблема самой Анны, частицы того самого общества, которое равнодушно к судьбе другого. И если Анна способна сопереживать ближнему своему (я имею в виду эпизод с раненым юношей, которого она впустила в дом, тогда как все другие персонажи пьесы захлопнули перед ним дверь), тогда дела обстоят не так уж тревожно. Стало быть, общественная психология не до конца погрязла в обывательщине. Но драматизм ситуации усугубляется тем, что Анна все-таки бессильна перед противостоящей ей силой. Она становится жертвой общественного мировоззрения.

Но это всего лишь один аспект пьесы. Другой и, на мой взгляд, важнейший, состоит в сюжете. Если в «Гнезде на девятом этаже» сюжет был сознательно игнорирован как выразитель дей-

ствия и Т. Чиладзе старался нацелить внимание зрителя на внутренний мир персонажей, то в новой пьесе он вовсе нарушил традиционное представление о сюжете, разложил его на составные так, что требуется предельная сосредоточенность и внимание, чтобы выстроить его и вместить в традиционные рамки.

Я далек от мысли о том, что этот прием — новация. Тому есть немало примеров в истории драматургии (в этой пьесе не новы ни сюжет, ни метод, к которому прибегнул автор, — так называемое воспроизведение театра в театре или пьесы в пьесе). Здесь интересно другое — синтез действительного и воображаемого, сцен эпизодов из прошлой жизни героини и репетиций «Гамлета» (гамлетовский дух олицетворяет в пьесе духовную и нравственную чистоту, выступает символом возвышенного).

Выражением эгоизма в пьесе выступает Нато: «Я жертва эгоизма, несчастная, оставшаяся в одиночестве, растоптанная. Эгоизм — рак души, разрушающий не только меня, но и все вокруг. Он ставит все на одну ступеньку, принимает любовь, благородство, дружбу, все, что хоть немного нуждается в тепле и понимании. Вот я для собственного спасения ежеминутно готова на новые и новые преступления. Разве сегодня утром с бедной Анной я не повторила того, что совершила двадцать лет назад. Вот и Анна исчезла... Я успокоилась. Но зачем мне это спокойствие, зачем?»

Слова эти вложены в уста Нато, но их мог произнести любой персонаж пьесы, ибо все они представляют собой однообразную массу и отличаются друг от друга лишь манерой выражать свои чувства, а точнее — позой, ибо природа чувств у всех едина (естественно, кроме Анны), и потому каждый из них является жертвой собственного эгоизма; все поразил «рак души», все достигли желаемого душевного спокойствия, которое впоследствии обернулось для них мукой по двум причинам. Первая — это душевное спокойствие было приобретено ценой чьих-то несчастий, вторая же причина в том, что душевное спокойствие, о котором говорит Нато, является по существу душевной пустотой.

Исключение представляет образ матери, символически представленный в пьесе. Мать — трагический персонаж, но ее не коснулась та болезнь, которую Нато назвала «раком души».

«МАТЬ: ...Три года я от тебя ни строчки не получала. Хотя, извини, я забыла — ты же не любишь мать, а я сижу и плачу — что я виновата, что не должна была во второй раз замуж вы-

Гурам Батиашвили. Исследуя духовный мир человека...

ходить. А если бы я осталась с тобой, ты бы меня живьем сгрызла. Еще хорошо, я вовремя спаслась. Ты никого не любишь. Меня не любишь — это ладно. Но ты и отца не любила. Родного отца. У меня руки все от работы потрескались, как печеный картофель. Когда ты каждый месяц получаешь деньги, почему не спрашиваешь, чьими руками они заработаны? Каждое семнадцатое число твой отчим несет на почту деньги и переводит тебе... Ты нас опозорила... Перед всей деревней осрамила. Мне уже сто раз говорили, что моя дочь открывает всем, кто постучится к ней. Пожалуйста, я буду молчать, закрою рот, лучше бы ему землей наполниться! А ты открывай каждому, кто в окно постучит....

АННА: Да поймите же вы, наконец, они ворвались ко мне и оставили раненого. Я больше ничего не знаю и ни в чем не виновата!

МАТЬ: Лучше бы ты у меня в животе задохлась, чем мне до этого дня дожить!

АННА: Увези меня отсюда, заведи с собой, мама, мамочка, возьми меня отсюда, милая...

МАТЬ: Я должна была убить тебя в тот день, когда нашла у тебя в сумке сигареты... Вот тогда и надо было тебя убить, всем было бы лучше... (Анна пытается ее обнять, но мать грубо отталкивает ее).

МАТЬ: (встает с криком): Убирайся! (Анна не отстает). Убирайся, я сказала, не прикасайся ко мне!»

В этом эпизоде отчетливо прослеживается биография души матери, ее драматическое прошлое и настоящее, ее чистое сердце. Эгоизм общественной психологии оставил глубокий след и в ее судьбе, но не стал нормой ее жизни. Ей тяжело под грузом мести, вызванной материнской болью, но эта месть слепа, и мать таким образом становится в круг людей, погубивших Анну.

В этих четырех пьесах выявляется сфера интересов Тамаза Чиладзе-драматурга. Он исследует духовный мир человека, истоки его души. А душа человеческая извечна. Начиная от Софокла до наших дней художники всех времен и народов посвящают ей свои произведения, ибо в ней заключено то истинное начало, которое всегда останется предметом интересов художника.



ЛИТЕРАТУРА черных американцев, возникшая в Америке в середине XVIII века, долгое время оставалась недооцененной и неизученной как американскими, так и европейскими критиками и литературоведами. С 20 — 30-х годов нашего столетия, когда влияние негритянской культуры на культуру белой Америки стало очевидно, началось, хотя и фрагментарное, изучение литературы и искусства американских негров, принявшее с 50-х годов систематический характер.

Советские переводчики, критики, историки литературы стали знакомить нашего читателя с произведениями негритянских писателей уже с 20-х годов. Интерес этот был обусловлен своеобразным и ярким периодом в негритянской литературе и культуре, так называемым Негритянским Возрождением, охватившим примерно четверть века — с 1910 по 1935 год.

Для негритянских писателей это была пора протеста и декларации культурной независимости, обретения нового голоса и гордости за свою расу, когда они впервые почувствовали внутреннюю свободу и приступили к поиску новых

ПРОБЛЕМЫ
ЗАРУБЕЖНОЙ
КУЛЬТУРЫ

Тамара ЦИНЦАДЗЕ

СУДЬБА ХУДОЖНИКА И ЕГО ТВОРЕНИЯ

«ТРОСТНИК»
ДЖИНА ТУМЕРА

тем и художественных форм, к творческой переработке народного негритянского наследия. Именно тогда в Соединенных Штатах впервые появились поистине оригинальные и самобытные негритянские писатели.

Новаторство, экспериментаторство, поиски новых форм выражения стали одним из основных признаков Негритянского Возрождения, среди новаторов которого первым следует назвать Джина Тумера (1894 — 1967).

Происходил он из семьи нью-орлеанских светлокожих мулатов и был внуком П. Б. Пинчбека — губернатора Луизианы, позднее — сенатора, единственного негра, удостоенного во время реконструкции¹ столь высоких постов. После отставки Пинчбека семья из «респектабельного» района переехала в район для цветных, где было больше эмоций, веселья, ритма, цвета и где Тумер впервые ощутил себя членом негритянской общины.

Он изучал то агротехнику, то право, но так и не завершил образования. Увлёкся литературой, стал писателем-авангардистом, печатался в ведущих и экспериментальных журналах, важных в общем литературном движении 20-х годов.

Беспокойный человек, «бродяга и искатель», как его называли, Тумер в 20—30-х годах побывал в разных частях Северной и Южной Америки, в Европе, жил среди разных людей, как белый и как черный. Он был популярен в литературных кругах Нью-Йорка, дружил с Ш. Андерсоном, У. Фрэнком, Г. Мэнсоном, А. Тейтом, П. Розенфелдом, А. Штейглицем, Х. Крейном, К. Бэрком и другими интеллектуалами той поры. Своими учителями считал Данте, Блейка, трансценденталистов, Уитмена (т. е. поэтов и философов — две его «ипостаси» в будущем).

За краткий период своей творческой активности Тумер сумел во многом придать Негритянскому Возрождению то огромное значение, которое оно имело на протяжении всего последующего развития негритянской литературы в США. Поэтичность видения и манеры, пронизывающая его поэзию и прозу, нерасторжимое единство этих двух жанров в его творче-

¹ Период 1865—1877 гг., последовавший за окончанием Гражданской войны (1861—1864), когда в интересах капиталистического развития страны правительство США взяло курс на реконструкцию бывших рабовладельческих штатов. Фактически это был второй этап американской буржуазно-демократической революции.

стве, тонкость слуха, музыкальность строки позволяют отнести Тумера скорее к поэтам, чем к прозаикам.

Тумер относится к тем мастерам, которые, как из глины, лепят из слов новые, оригинальные формы. Выработанные им творческие приемы на несколько десятилетий опережают их возникновение в американской литературе. Когда его коллеги по Возрождению¹ все еще писали то в романтической, то в натуралистической манере, Тумер вышел далеко за эти пределы — к символу и мифу, к емкой, лаконичной, современной и удивительно поэтичной форме.

В 20-е годы он стал одной из ведущих фигур Возрождения. Это был самый активный период в его творчестве, когда тумеровские стихи, рассказы и эссе появлялись в популярных и экспериментальных журналах. В 1923 году вышла его книга «Тростник», хорошо, даже восторженно принятая критикой, но мало замеченная рядовым читателем и так и оставшаяся раритетом до ее второго издания в 1969 году.

Взросший в последние годы интерес к литературе Возрождения и к негритянской литературе в целом критики во многом объясняют повторным изданием этой необычной книги, в которой в тесном единстве и полной гармонии сосуществуют поэзия, драма, различные формы прозаических миниатюр. Как «Тростник», так и его талантливый автор представляют собой загадку, не прояснившуюся, а, наоборот, ставшую еще более непостижимой с момента выхода в свет этого произведения.

Более всего поражает форма «Тростника», до сих пор вызывающая споры относительно того, к какому жанру его отнести. Некоторые критики (преимущественно 60—70-х годов) считают «Тростник» романом. Однако следует учесть, что исходные моменты, дающие им возможность отнести книгу к жанру романа, — теория абсурда, якобы связывающая Тумера с экзистенциалистами, теория самообразующегося единства форм, соотношенная с идеей «черной эстетики», концепция формы Дж. Крафта — в 20-е годы просто отсутствовали. Не случайно поэтому его современники — американские писатели Г. Мэнсон и У. Фрэнк, весьма чувстви-

¹ Здесь и далее имеется в виду Негритянское Возрождение.

тельные к форме, не называли «Тростник» романом, а Тумера относили к поэтам.

Ряд критиков высказывается за принадлежность «Тростника» к поэзии или подчеркивает доминирующее значение в нем стихов. Другие идут на компромиссное решение — считают «Тростник» смесью различных жанров, имеющих тематическое и стилистическое единство. Называли книгу и «поэтической драмой», и «блюзовым эпосом». Сравнивали ее с произведениями живописи, а также музыки — то с симфонией, то с синкопированными ритмами народной негритянской музыки, называли Тумера «поэтом в прозе», «поэтом-романистом», «поэтом-новеллистом».

Это многолетнее разногласие — следствие необычной комбинации входящих в «Тростник» жанров (прозы, поэзии и драмы), выходящей за рамки обычных определений.

Мы же присоединяемся к мнению критиков, относящих «Тростник» к поэзии, учитывая при этом не только прекрасные, необычные стихи и редкую поэтическую прозу этой книги, но и то, что Тумер мыслил и называл себя поэтом (как и Кэбниса — свое *alter ego*).

На первый взгляд, «Тростник» производит впечатление альбома зарисовок из жизни негров на Юге и Севере США. Однако, присмотревшись внимательнее, замечаешь, что это далеко не случайное собрание разрозненных работ. В книге отчетливо выделяются отдельные темы: в первой части рассказывается о неграх сельской Джорджии и о трагических судьбах ее женщин; во второй описан быт цветной буржуазии Вашингтона и Чикаго, в третьей автор вновь возвращается в Джорджию, обсуждает проблемы расы, религии, образования, прошлого, настоящего и будущего негров.

В конечном единстве три части «Тростника» отражают поиски Тумером своего «я», своей индивидуальности, лица и прошлого своего народа. Это попытка увековечить красоту народной негритянской культуры и стиль жизни уходящего старого крестьянства.

«Тростник» — отражение яркой авторской индивидуальности, хроника поисков Тумера — человека и писателя. Поэт искал контакты и узы с Югом, свои корни в нем. Устав от чужих дорог, он возвращается на родную землю, познает народное искусство негров, их традиции, быт. Это уже шаг на пути поисков своего «я», первая попытка самоопределения.

Тумер во всей полноте воспринимает жизнь. Реакции его тонки, инстинкты сильны, эмоции глубоки и богаты, ум аналитичен. Он находит жизнь яркой и привлекательной, он приемлет ее, все в его книге дано в четких и ясных тонах.

На первый взгляд, основная тема «Тростника» — тема любви, психологически-личностные коллизии, что вводит иных критиков в заблуждение, вынуждая их судить о проблемах секса, супружеской неверности, кровосмешении, сексуальном соперничестве, как о центральных для автора. Буржуазные критики предпочитают не видеть, что расовый конфликт составляет основную тему книги, хотя он и затрагивается не во всех новеллах. Писатель сознательно упрощает «личный» сюжет, чтобы заострить внимание на вопросах — кто виновен в страданиях негров? Почему льется столько крови? В чем спасение? Ответ дается автором во всех миниатюрах «Тростника» — символом, намеком, оговоркой, какой-либо ассоциацией, а то и через конкретную ситуацию.

В «Тростнике» весьма силен социальный подтекст. Конфликты, как и во многих последующих произведениях Тумера, носят здесь расовый характер. И хотя большинство миниатюр строится на темах насилия, убийства и страданий, они не производят гнетущего впечатления из-за особого отношения Тумера к своим героям и его изящного, мягкого стиля. Он не судит своих героев; рисуя их даже в грубых актах насилия, напоминает об их человечности, заставляет уважать их. Проза Тумера поэтична, и часто автор незаметно переходит от одного жанра к другому. Атмосфера спокойного достоинства пронизывает книгу и углубляет ощущение расового сознания, которым она проникнута.

Место действия первой части — Юг, время — послевоенные годы, героини — группа женщин, именами которых названы пять новелл.

В центре внимания автора — женщины и их роковое влияние на судьбы мужчин. Во взаимоотношениях персонажей есть какая-то незавершенность, неудовлетворенность. В двух случаях мужчины трагически погибают. Женщины оказываются сильнее, но и их жизнь неполна и несчастлива...

Тамара Цинцадзе. Судьба художника и его творения.

Героини Тумера на первый взгляд примитивны, но есть в них нечто непостижимо сложное, неуловимое, какое-то очарование и притягательная сила. Через их судьбы переданы и сложные расовые взаимоотношения, сложившиеся на Юге, своеобразная расовая этика. Такие женщины в негритянской литературе до Тумера не встречались. В них — глубина, связанная с землей предков. Каждая индивидуальна и что-то по-своему говорит о Юге.

У Тумера важно не «что», а «как». Важны не столько события (их порою и нет), сколько общая атмосфера, общий эмоциональный эффект, недомолвки, нюансы взаимоотношений. Важен тон автора, многое говорящий чуткому читателю, «случайные» замечания, сделанные по ходу повествования. Очарование прозы Тумера трудно передать.

Жизнь героев Тумера изломана, кратка. Безрадостные отношения между ними ведут либо к рождению несчастных «бастардов», либо к смерти. Писатель видит, как буржуазная цивилизация разрушает их души, обезличивает их. При всем этом герои Тумера с царским достоинством носят в себе память о своих предках, свободных и гордых, людях свободного труда. Они бесхитростны и естественны, лишены надуманности и всего искусственного. Даже в своем поражении они, по Тумеру, не жертвы, а люди, которые ошиблись. В «Истер», «Карме», «Ферн», «Бекки» (а во второй части книги — в «Ави») особо проявилось сострадание автора к тем, у кого нет сил возобладать над обстоятельствами. Лиризм Тумера налагает на все свой отпечаток. Он тонко передает страшное в жизни Юга. Пишет о вопиющей несправедливости общества, считающего себя цивилизованным, но лишаящего своих членов простейших человеческих прав. В «Тростнике» нет открытого протеста, но поэт постоянно напоминает читателю о жестокости Юга, всего американского расистского общества.

Действие новелл и некоторых стихов первой части («Косари», «Цветок хлопка в ноябре», «Лицо», «Песня хлопка», «Песня сына») происходит в темноте — ночью или в сумерках. Темнота освобождает негров, но одновременно грозит поглотить их прошлое. Порою образы ночи и темноты создают атмосферу кошмара, насилия, поражения. Через них передана жизнь людей, живущих на грани ирреального, стремящихся подавить ужас перед прошлым и страх настоящего. Грядущее, говорит Тумер, будет также вселять страх, если негры не научатся принимать прошлое как реальность, не научатся смотреть ему в лицо без страха и стыда. Такая

насыщенность содержания при скупости действия миниатюр Тумера удивительна.

Последствия рабства, расового антагонизма, бесконечных ограничений, сопутствующих жизни человека в «цивилизованном» обществе, в еще более трагических тонах даны во второй части книги, где автор описывает жизнь негров на Севере США, результаты «большой миграции». Место действия — Вашингтон и Чикаго, время — военные и послевоенные годы. Тон автора становится резче, жестче. Тумер намеренно переключает внимание с быта и образов южных крестьян на жизнь негритянской буржуазии в столице США. Тонко, без нажима дает он почувствовать разницу в психологии этих весьма далеких друг от друга слоев. Тумер показывает иную форму рабства на Севере — зависимость людей от города, от условностей, машины. Это — рабство и духовное, и экономическое.

В этой части книги внимание сосредоточено на мужчинах, на их судьбах, изувеченных условиями индустриального Севера. Если в первой части действие новелл и стихов разворачивается в тростниковых полях и сосновых лесах, то во второй оно ограничено стенами помещений; Тумер считает, что для негров Юг — более естественная среда, там их индивидуальность проявляется ярче и свободнее. Но и на Севере, и на Юге США он видит условия, уродующие жизнь негров.

Тумер рассказывает о судьбах, изломанных моралью и условностями буржуазного общества («Пожа», «Ави», «Театр», «Бона и Поль»), о мании накопительства, свойственной буржуазии («Роберт»), о «выхоленном, обезличенном» Вашингтоне, обожествляющем деньги и удовольствия («Седьмая улица»). Его герои не могут обрести гармонии в удушающей атмосфере буржуазного города, где одиночество людей особенно ощутимо.

В первой части у чернокожих была хоть одна радость — общение с землей, здесь же они испытывают страх, ужас, безнадежность. Удел героев этой части книги — отчаяние. Это легко ранимые натуры, не способные найти себе место в мире фальши, наживы, лжи. Война, спекуляция, «сухой закон» губят негров. И хотя на Юге были боль, страдание и унижение, там все же присутствовали еще и красота, глубина, таинственность, которых нет в городе, где все продается

Тамара Цинцадзе. Судьба художника и его творения.

и покушается. Лишь Седьмая улица — район чернокожих — подобно артерии, вливает свежую кровь в монотонную жизнь Вашингтона. Она источает музыку, тепло, любовь, огненные ритмы. Но порою возникает иная ассоциация—это не теплая, жизненосная кровь, а след смерти, гибели, разрушения. И Тумер ставит перед читателем очередной вопрос: откуда эта кровь?

Поэт пишет о «вырождении» негров на Севере, об утрате ими собственных корней (цемент и асфальт города мешают их прорастанию), утрате контактов с народной культурой, о «бегстве в религию» («Взывая к Иисусу»). В «Ложе» и «Театре» Тумер рассказывает об утерянной человечности «роботов», задавленных домами, машинами, ночными клубами, газетами — всем, что представляет собой современное общество. Земля же и труд поддерживают эту человечность, дают людям возможность контакта.

Борьба карликов, иронически именуемых «тяжеловесами» («Ложа»), это символ фарса, называемого «американским образом жизни». Гротескный символизм, тщета, бессмысленность этой сцены подчеркивают никчемность окружающего. Поль («Бона и Поль»), стыдящийся своего происхождения, теряет любовь Боны—белой. В «Ави» Тумер блестяще передает трагический мятеж человека против условностей буржуазного общества, в «Театре» обнажает все углубляющуюся пропасть между негритянской буржуазией и «простыми» неграми.

В новеллах второй части главные метафоры — стены и мертвый дом. Дэна («Ложа») охватывает желание сокрушить смыкающиеся вокруг него стены, но он бессилен, пока оторван от своей естественной среды—земли Юга. Его образ вызывает ассоциации с Христом. Дэн — от земли (он родился в тростниках), и он — единственное спасение для этого мира (т. е. спасение в земле, в людях от земли). В «Ложе» образ негра-гиганта дан как метафора источника жизни. В «Ави» есть иная метафора — посаженные в ящики вдоль Пятой улицы деревья, «ржущие как жеребцы, тянущиеся к свободе». Это тоже образ негров, скованных условиями города.

Действие большинства новелл и стихов второй части также происходит в темноте. Герои чувствуют себя чужаками на Севере, их тянет к тростниковым полям и соснам Юга. Бессилие негров вызвано, прежде всего, их отчужденностью от прошлого. Чтобы обрести здоровый дух, считает Тумер, надо обратиться к своим корням, к народной культуре и традициям.

В третьей части «Тростника» («Кэбнис») действие вновь переносится на Юг; время — ночь, место — деревушка в Джорджии, герой — учитель, интеллигент-северянин Ральф Кэбнис. В «Кэбнисе» отсутствие корней, оторванность от прошлого и необходимость познать и принять его переданы с еще большей остротой.

«Кэбнис» — символический возврат к началу, к корням. Основная тема пьесы (условно назовем эту повесть в диалогах пьесой) — Юг как духовная родина негров. Тумер создает контраст между живой, непосредственной натурой негров-южан, драматическими обстоятельствами их жизни и невротической негритянской буржуазией Севера. Сюжет не имеет существенного значения в пьесе. Герои ее — не конкретные люди в конкретных обстоятельствах, а социально-психологические типы. Сама же пьеса — удобный плацдарм для столкновения «черной» и «белой» точек зрения на расовый вопрос, вопросы негритянской религии, истории, культуры, на проблему прошлого, морально-этические проблемы американского общества.

Кэбнис — сложный образ. Это мечтатель-идеалист, книжник, будущий поэт, однако трус и пьяница. Его влечет и отталкивает, даже пугает Юг с его традициями и верованиями. Поездка Кэбниса на Юг — это путешествие в потемках собственной души. Он боится земли Юга, «прикосновение к которой воскресит его».

Действие «Кэбниса» происходит в темноте до самой последней, кульминационной сцены (свет и тьма все время носят в книге символический характер), где впервые солнце восходит (в миниатюрах оно всегда садилось).

Тумер считает, что приятие прошлого, вызывающего боль и чувство унижения, познание своих корней важны для духовного освобождения негров. Его попытка обратиться к прошлому, найти в нем свое «я» означает и отход писателя от морально-этических норм буржуазной цивилизации, утратившей мудрость простой, здоровой жизни.

Несмотря на небольшое число стихотворений, созданных Тумером, он — один из самых тонких и прекрасных американских поэтов. Стихи «Тростника» усиливают смысл его прозы, в них видны одни и те же образы (тростник, сосна, темнота...), в конечном счете сливающиеся в единый многоплановый образ.

Как и проза, поэзия Тумера сложна, порою загадочна. Часто он подбирает многозначные слова и символы (в «Косарях», например, негры точат серпы то ли для жатвы, то ли для борьбы...). Но так или иначе, все здесь рождает в нас отчетливую тревогу, вызванную красотой и жестокостью Юга.

В «Косарях» и «Песне хлопка» отражено осознание Тумером ценности наследия его народа. Он пишет о силе духа и единстве крестьян, завершая стихотворение революционной нотой — «мы не будем ждать Судного дня!»

«Пчелиный рой» — метафора тесного, задавленного нищетою гетто. Рассказчик (шмель) мечтает заснуть навсегда в цветке где-нибудь в поле (все тот же конфликт между городом и деревней). В «Сумерках в Джорджии» ощущается таинственность земли Юга. Это очень важная миниатюра, в которой, словно в призме, сходятся все основные темы стихов и новелл этой части.

Многочратно повторяющиеся темы и образы «Тростника» создают тональное единство книги, сливая прозу, поэзию и драму в одну главную тему — тему Юга, порожденного им расового конфликта, значения земли для негра.

Образы, темы и контрасты «Тростника» создают эмоциональную и смысловую сложность книги, через которую проходит сквозной образ тростника — высокого, гордого, как сам негр, прочно уходящего корнями в почву Юга. Вместе с тем это и образ земли Юга. Появляется здесь и образ крови («Косари», «Кровавая луна» и др.).

Но все же самый важный образ в «Тростнике» — образ земли, почвы Юга, в которую уходят исторические корни негритянского народа, его прошлое и культура. Возникает он во всех трех частях книги, пронизанной запахом тростника и сосновых игл. С землей Тумер прочно связывает и конфликт между Севером и Югом. Негры, по его мнению, внутренне более свободны на Юге, чем на Севере (его героини на Севере более скованы, а потому и более несчастны). Рассказчик из «Ави», Поль («Бона и Поль»), старая негритянка из «Ложки» и другие герои думают о Юге как об утерянном доме. На Севере им неуютно. В миниатюрах второй части Тумер пишет о негре-северянине, как об изгнаннике, выкорчеванном из почвы Юга, дававшей ему силу.

При всем обилии намеков, недомолвок, чего-то неуловимого в «Тростнике» отчетливо проступает любовь к Югу, к его трагической красоте. Но Тумер вовсе не идеализирует Юг. Он рисует его многочисленные пороки — бедность,

проституцию, эксплуатацию негров, суды Линча. Для него жизнь черных бедняков не есть выражение экзотического стиля жизни. Он лишь подчеркивает контраст между красотой земли и разрушающим влиянием индустриализации, предвосхищая тем самым многие последующие книги негритянских писателей (романы К. Маккея, А. Бонтана, У. Сермана, У. Атавея...).

Основная метафора первой части — губительный дым лесопилки, пила, уничтожающая сосны, красоту земли («Каринта», «Песня сына», «Сумерки в Джорджии»). В «Карме» этот образ связан с образом железной дороги, по которой лес увозят на Север (аналогичную символику видим в вышедшем в 1953 году романе барбадосца Дж. Лэминга «Под броней моей кожи»). Эксплуатация губит крестьян и опустошает землю.

Тема индустриализации еще ярче проступает в «Кровавой луне», где Тумер пытается довести до сознания читателя мысль о том, что на Юге рабство не окончилось с концом гражданской войны, продолжаясь экономическая эксплуатация негров дает свои социальные и эмоциональные результаты. Это современное рабство, как бы оно там ни называлось. В «Истер» тема рабства дана в исторической перспективе (монолог проповедника Барло). Но в «Ложе» Дэн произносит слова «раб» и «рабство», подразумевая жизнь современных ему северян. Когда Льюис смотрит на Кэбни-са, в его сознании возникает слово «раб». Кэбнис говорит с Отцом Джоном о рабстве, связывая его с настоящим. Т. е. идея рабства не имеет исторических границ. Тема рабства несколько раз переплетается в «Тростнике» с африканской темой («Истер», «Карма», «Сумерки в Джорджии»). В «Превращении» Тумер с болью говорит о том, что случилось с африканцем в Америке. Образ Африки возникает лишь как воспоминание о былом величии чернокожих.

Тумер затрагивает и проблему религии, пишет о конфликте между естественной и организованной религиями. Последняя дана как форма эскапизма. В «Песне хлопка» религия — это отдушина от каторжного труда на плантациях. Судный день дан как день освобождения рабов. Тут религия несет положительную функцию (как в спиричуэлс) — помогает выносить трудности настоящего.

В других миниатюрах («Истер», «Взывая к Иесусу») речь идет о религии как об обмане, способе белых поработить негров. Кэбнис со злостью говорит о религии, «одурманивающей негров». Отец Джон бормочет, что белые использовали библию, чтобы оправдать рабство.

Интерес Тумера к религии идет от его внимания к расовым взаимоотношениям, стоящим в центре «Тростника». Ими вызвана трагедия черных и белых — Луизы, Каринты, Ферн, Боны, Дэна, Бекки; проблемы Истер, Поля и Кэбниса — светлокожих мулатов, имеющих возможность «перейти».

Интерес Тумера к проблеме «перехода», к мулатам, не принадлежащим полностью ни к одному из двух миров, подводит нас к проблеме рассказчика в «Тростнике», к его месту в книге и отношению к собственной расе и цвету. Это эмоциональный центр книги. Хотя в иных новеллах, изложенных от первого лица, «я» не всегда идентично автору, все же рассказчик — это маска, под которой скрывается он сам. В некоторых миниатюрах автор — герой, участник действия, в других — наблюдатель. Но нигде он не навязывает читателю своего присутствия.

«Песня сына» (песня Тумера — потомка рабов) — наиболее прямое выражение авторского «я» в «Тростнике». Тумер говорит о своем долге поэта перед народом восстановить и сохранить для потомков какую-то часть прошлой истории негров, запечатлеть остатки уходящего в прошлое традиционного стиля их жизни. Книга рисует негров такими, какими они, возможно, не всегда захотят видеть себя. Но Тумер верил, что даже из опыта рабства можно вынести что-то положительное — человек учится на ошибках своего прошлого.

В новеллах «Ави», «Взывая к Иесусу», стихах «Пчелиный рой», «Губы ее, как медь», «Молитва» Тумер уподобляет себя другим северянам — героям второй части книги, испытывающим разлад души и тела. Эта тема развивается далее в «Песне урожая». В новелле «Бона и Поль», в «Кэбнисе» поэт выступает в роли мулата, не способного решить, к какому из миров он принадлежит. Читая книгу под таким углом, начинаешь воспринимать ее как историю самого Тумера, не способного до конца принять свою расу и расовое наследие.

Кэбнис почти полностью отрицает свое наследие (как позднее это сделал и сам Тумер). Он — тот же Тумер — се-

верянин, преподававший на Юге, мулат, который может «перейти». Тумер говорит о своем герое как о будущем поэте (т. е. Тумер мыслил себя поэтом). И внешностью Кэбнис очень напоминает Тумера. Как и Тумер, он приехал на Юг определить свою индивидуальность. Многие замечания Кэбниса выявляют пропасть между ним и южанами. Кэбнис чувствует себя чужаком на Юге. О Льюисе же Тумер говорит: «Он — тот же Кэбнис, только более сильный, и странным образом напоминает его». То есть Льюис — это тот, кем хотел быть сам Тумер. Вместе взятые, они представляют две стороны его натуры — кем он хочет быть (Льюис) и кем он вскоре станет (Кэбнис). Тумер подчеркивает контраст между ними.

Таким образом, портрет Кэбниса — это автопортрет Тумера. В пьесе внутренний конфликт поэта нашел свою кульминационную точку. Кэбнис, приобщившись в какой-то мере к народной традиции и культуре, так и не смог обрести своего истинного «я», до конца познать свои корни и отождествить себя со своим народом. Однако некоторые критики (А. Бонтан и Ю. Редмонд) предпочитают не видеть этого момента в «Тростнике», что приводит их к неверным выводам относительно самого Тумера и, как они считают, его «неожиданного перехода» в среду белых в конце 20-х годов. Но фактически этот переход был «запрограммирован» еще в 1923 году в «Тростнике». Роль Тумера-рассказчика многое объясняет в его книге и в его последующей судьбе.

В книге Тумера много мистического и загадочного, но он умеет быть и реалистом (особенно во второй части «Тростника»). Это отмечают Ст. Браун, А. Дэвис, А. Чепмэн, Р. Боун, Э. Марголис и другие критики, белые и черные. Мысль автора проступает всегда, даже в самых трудновоспринимаемых кусках, вызываемые же Тумером чувства и эмоции всегда ясны.

«Тростник» полон гармонии и очарования непосредственности. Тумер видел красоту уходящей в прошлое наивности и простоты чувств, но не оплакивал их, не стремился вернуть прошлое, а лишь хотел увековечить его в памяти черных и белых. Он чутко уловил пульс жизни Юга. Поражает его умение впитывать в себя ритмы, звуки, запахи этой земли. Читатель «Тростника» чувствует присутствие автора,

Тамара Цинцадзе. Судьба художника и его творения.

«остроту его взора и чутья, видит своеобразие и богатство местного колорита, с любовью воссоздаваемые поэтом.

Относительно редкого лиризма Тумера и его высокого литературного мастерства разногласий нет. Он нашел свой собственный способ выражения — то торопливый, прерывающийся интенсивным действием, то намеренно замедленный, то подернутый дымкой, то четкий — для выражения идей, но всегда ритмичный, рассчитанный на тонкого, интеллектуального читателя. Размеренное течение рассказов и пьесы контрастирует с описанными в них драматическими событиями. Общий тон книги печальный, как нельзя лучше соответствующий «боли и красоте умирающей земли».

Тумер пишет о личном, о сильных переживаниях и эмоциях, используя косвенную речь. Лучший пример тому — «Портрет в Джорджии». Обычные вещи поэт часто преподносит под необычным углом. Интересно, что до того, как начать писать, Тумер увлекался живописью и музыкой. Следы этого увлечения проступают в «Тростнике»: ранние его миниатюры в той же мере имеют музыкальную структуру и форму выражения, как и литературную (например, «Каринта»). Повторяющиеся темы и образы здесь напоминают лейтмотив музыкального произведения.

«Тростник» отражает поиски Тумером литературной формы. Видно, как он ищет образец, какую-то исходную точку. В некоторых новеллах («Ферн», «Ави») ощутимо влияние Ш. Андерсона, в других — У. Фрэнка («Театр»). Сюжеты его новелл становятся яснее, а части прочнее спаяны с эстетической точки зрения. Постепенно Тумер находит собственную манеру повествования, свободную, драматическую, оригинальную («Ложка», «Бона и Поль», «Кэбнис» и др.).

«Тростник» — одно из произведений, возвестивших начало откровенного самовыражения негритянских писателей и возникновение качественно новой негритянской литературы. Это одно из наиболее значительных, ключевых произведений Негритянского Возрождения, предшествовавшее опубликованию наиболее важных для его формирования стихов и поэм Дж. У. Джонсона, К. Каллена, Л. Хьюза, Ст. Брауна, прозы К. Маккея, З. Н. Херстон, Э. Уорланда, У. Сермана, Дж. Скайлера и других участников Возрождения.

Влияние и значение творчества Тумера в развитии художественных форм в негритянской и американской литературе велико. «Тростник» появился в то время, когда литера-

тура о неграх и литература, создаваемая неграми, не испытывали еще особого подъема. Книга эта существенно повлияла на углубление художественного мастерства негритянских писателей. Последующие их поколения многим обязаны Тумеру. Сознательно или подсознательно они подхватили его метод, попытались увидеть жизнь героя глубже, вместе с негром, «через него». Многие в последующей литературе чернокожих в США, Вест-Индии и Африке исходит из книги Тумера — ее настроений, идей, а нередко ее стиля и приемов.

Влияние Тумера ощутимо и в творчестве столь отдаленной от него во времени негритянской писательницы, как Марри Иванс, и в творчестве барбадосского писателя Дж. Лэминга.

Весьма важно и то, что, несмотря на уникальность формы, «Тростник» весьма типичен для своего времени в ином отношении: вера в то, что приятие прошлого необходимо для понимания собственных культурных традиций, является в конце концов темой многих книг Возрождения—романов Дж. У. Джонсона, Н. Ларсен, К. Каллена, Ст. Брауна, Л. Хьюза и других прозаиков. Все они обращались к теме прошлого, хотя часто решали ее в более романтическом плане. Правда, «Тростник» в большей степени знаменовал разрыв с предыдущей традицией негритянской литературы, полный отказ от старых мифов и стереотипов. Это был и вызов ранним негритянским авторам, таким, как П. Л. Данбар и Ч. Чеснет, не способным понять и принять свое прошлое и историю негров в Америке.

К концу 20-х годов Тумер «перешел» цветовой барьер. Однако «Тростник» занимает столь важное место в литературе Возрождения и во всей последующей литературе чернокожих Америки и других стран, что даже «переход» им расового барьера не поставил под сомнение его место как одного из столпов Возрождения, основоположников современной негритянской литературы США, классиков американской литературы XX века.

«Переход», отказ от своей расы и негритянской тематики имели губительные последствия для Тумера как для писателя — после «Тростника» он не опубликовал ничего значительного. Об этом свидетельствует и количество недоделанного им материала (после его смерти исследовате-

ли обнаружили 30.000 страниц незавершенных работ, завещанных им негритянскому университету Фиск).

«Переход» оказался губительным и для сознания Тумера. Создавая «Тростник», он чувствовал себя негром, южанином, потомком рабов и писал также для негров. Тумер—создатель «Тростника» полностью осознавал значение для себя негритянского мира, своего «я» как негра. Он пришел к универсальному не через отказ от своей расы, а через ее познание. «Тростник» был его попыткой решить центральную проблему своей жизни — проблему собственного расового наследия и своего места среди людей. И если он в конце так и не сумел принять это наследие, его «Тростник» помог другим понять, полюбить и принять его.

В последние годы интерес к Тумеру и «Тростнику» резко возрос. Показательно, что сегодняшние критики считают его книгу важнейшей в литературе Возрождения (К. Брукс, Р. Льюис, Р. П. Уоррен), оригинальнейшим из произведений негритянских авторов (Р. Ларсон), классикой негритянской и современной американской литературы (Ю. Редмонд), шедевром современной литературы (Н. Хаггинс), «кладовой» современной, самой свежей техники письма (Дж. Кент). Это произведение Тумера входит во все антологии негритянской литературы. Сегодня, после нового открытия «Тростника», ни одна из библиографий шедевров американской литературы не обходится без него.

«Тростник»—наиболее оригинальная из книг, созданных писателями Возрождения, вообще негритянскими писателями первой половины века. Это одно из самых ярких произведений, созданных американской литературой 20-х годов, предвосхитившее эксперименты Дос Пассоса и Фолкнера. Критики (Р. Витлов, Ю. Редмонд и другие) считают «Тростник» поистине новаторским произведением, опережающим свое время. Он ставит его автора в один ряд с такими новаторами, как Хемингуэй, Стайн, Паунд, Элиот.

Тумер экспериментировал и в жанре драмы—еще тогда, когда слабы были голоса грядущей революции в американском театре. Можно сказать, что он—один из первых новаторов современной американской литературы. Кроме совокупности трех жанров, в «Тростнике» встречаются многие из технических приемов, использованных Дос Пассосом и Фолкнером: поток сознания, множественность точек зрения, одновременное наличие нескольких временных пластов, модификация традиционного единства героя, места и действия

и других. Есть даже попытка использования графических (круговых) изображений перед каждой из частей книги. Их интерпретировали по-разному — как символы мужского и женского начала, знаки луны и солнца. Взятые воедино, линии эти образуют неполный круг, что, возможно, подчеркивает центральную тему Тумера — нестабильность жизни, неудовлетворенность чернокожих в Америке.

После опубликования «Тростника» сознание Тумера оставалось двойственным, разорванным, и он обратился к различным методам для его унификации — углубился в психологию и психоанализ, изучал системы Ф. М. Александера, П. Д. Успенского, И. И. Гурджиева (в школе которого в Фонтенбло провел два лета), организовывал психологические эксперименты в США.

Разбросанность ранних лет сменилась приверженностью к строгой философской и психологической системе. Его увлекла проблема познания своего «я», роль сознания в жизни человека и его границы. От самопознания он стремился к познанию мирового и даже космического сознания. Пытаясь освободиться от ограничений, налагаемых на человека обществом, автор «Тростника» отрицал существующие расовые, региональные и прочие ограничения, стремясь к индивидуальному самопознанию и самовыражению.

У него сформировались два четких убеждения: что современный мир — истинный хаос и что в век полной разорванности связей и разобщенности художник обязан «унифицировать» себя, найти в себе объединяющие силы. Достигнув личной цельности, он сможет не просто «реагировать» на обстоятельства окружающей жизни, а будет воздействовать на современность, ослабит старое и зародит новое общественное сознание.

Тумер считал, что художник не имеет права создавать красоту без поисков истины. Он обязан ответить на вопросы — в чем назначение человека? Каков его потенциал? Чем он может стать? Что такое опыт и знание? И что такое мир?

Значение Джина Тумера — и в страстной попытке ответить на эти вопросы. Он разделял убеждения других художников тех лет, но реализовывал их по-своему. Его поиски отличались от поисков многих американских художников позитивным характером. Те, другие, искали что-то новое из

за отвращения к старому или следуя импульсу отрицания. Они резко отмежевывались от всего, что ненавидели, не имея метода, бессистемно пускались на поиски чего-то, что излечит их где-то, когда-то. Тумер же имел метод и цель, достижению которой посвятил все свое время и силы. Он надеялся, что в этих поисках произойдет унификация его разрозненного опыта и этот унифицированный опыт придаст глубину его последующей работе.

Со временем мастерство Тумера достигло нового, более высокого уровня. Так, его рассказ, напечатанный в «Америкэн кэраван» весной 1925 года, превосходит новеллы «Тростника». Но Тумер так и не смог наладить контакта с издателями. Критики и издатели вводили его в заблуждение советами «писать не о негре, а о человеке вообще». Видимо, и Тумер не смог решить, к кому же он принадлежит и о чем ему писать. К началу 30-х годов он окончательно «перешел» цветовой барьер.

Тумер продолжал писать и экспериментировать по крайней мере еще два-три десятилетия после опубликования «Тростника». Его мысли относительно широкого спектра человеческих отношений (религии, образования, расовых взаимоотношений, проблемы индивидуализма, общества, секса и др.) собраны в частным образом выпущенном сборнике его афоризмов и максим «Суть» (1931). Но избежать расовых проблем в своих последующих произведениях он так и не смог. Свидетельство тому — неопубликованное эссе «Негр будущего» (первое произведение, написанное Тумером после его «перехода»), неопубликованная книга «Ценности истинные и ложные. Психологические заметки», объемистые рассказы появившиеся во втором и третьем томах «Америкэн кэраван», эссе «Расовые проблемы и современное общество», поэма «Голубой меридиан» и ряд других произведений различных жанров. Тумер стремился избежать имени «негритянского писателя», но так и не смог уйти от расовой проблемы и все еще не до конца признан «американским» писателем.

Из года в год Тумер все глубже уходил в себя, в самозерцание. Его внимание от предметов реального мира перешло к глубинам психики. В своей первой и наилучшей книге «Тростник» он заострял внимание на чувствах, в своем последнем опубликованном произведении — «Суть человека» (1949) — подчинял жизнь духу. «Суть человека» отражает его интерес к состоянию человеческого духа и веру

в бога. И хотя Тумер говорит в ней об «обновленной вере», вера эта никогда, до самой его смерти не вылилась в сколько-нибудь значительную поэтическую или эстетическую форму. Тумер продолжал писать и переписывать. В результате возникали стихи, романы, эссе, книжки афоризмов. Но большинство из них осталось неопубликованным.

Наиболее многообещающий и оригинальный из писателей Негритянского Возрождения, Тумер удалился в тихий уголок Пенсильвании, стал «литературным призрак», писателем, которого более сорока лет с благоговением вспоминали в узком кругу критиков и историков литературы.

Что послужило причиной краха столь яркого дарования? В процессе бесконечного самоанализа Тумер потерял контакт с реальным миром, и его поиски в конечном счете обернулись потерей. Не сумев сбалансировать свой внутренний мир с миром внешним, он так и не достиг своей конечной цели — поставить свое мастерство на службу интересам людей, найти через него контакт со своим народом. Причиной неудач послужила и откровенно эстетская программа писателя, подчинившего свое творчество созданию форм — оригинальных, но уводивших его от реальности.

Не в малой степени виновны в крахе Тумера и буржуазные критики, заострявшие внимание на наиболее зыбких моментах его творчества — на символах, мифах, иррациональном, мистическом, на желании Тумера «выйти за пределы расы», забыть о своем происхождении, на его стремлении творить оригинальные формы... Эти критики повели Тумера путем ложной универсализации, оторвали от родной почвы, от своих корней, а потом отвергли как «непонятного» для широкого читателя.

Такова судьба художника, не сумевшего самостоятельно определить свой путь.



Мария КШОНДЗЕР

«МЫ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ...»

●
ПО МАТЕРИАЛАМ
ОЧЕРКОВ А. БЕЛОГО
«ВЕТЕР С КАВКАЗА»
●

ГРУЗИЯ всегда привлекала к себе русских писателей. Ее природа, древняя культура и люди вдохновляли их на создание самобытных, глубоких произведений. Особый интерес в этом отношении представляет очерковая проза о Грузии 20—30-х годов, почти не исследованная в советском литературоведении. Среди русских советских писателей, обращавшихся к грузинской теме, одна из самых ярких фигур — Андрей Белый, написавший интереснейшие путевые заметки «Ветер с Кавказа» (1928 г.). В них органически сочетались объективный и субъективный приемы повествования. Давая широкие картины действительности, автор в то же время (впрочем, как и во всех своих произведениях) оценивает их.

Во вступлении подчеркивается дневниковый характер очерков: «Чтобы не придавать книге искусственности, я положил в основу ее свой личный дневник — прием, оправданный и прошлым и настоящим» (с. 7)¹.

Форма дневника, выбран-

¹ Здесь и далее цитируется по книге—Белый А. Ветер с Кавказа. Федерация, 1928.

ная писателем, выдвигает его личность на первое место. Отсюда изображение картин природы, быта и нравов малознакомого народа неизбежно перекликается с его рассуждениями о собственной жизни, о творчестве и т. д.

Встречаемся мы здесь и с ассоциативно-сюжетным приемом изображения, причем, учитывая философский склад ума А. Белого, не приходится удивляться, если мысли, возникшие у него в результате одному ему понятной ассоциации, уведут его очень далеко от непосредственного предмета описания.

Круг вопросов, интересующих Андрея Белого и получивших воплощение в очерках, очень велик: это и природа Грузии, и обширное строительство, и меняющийся облик городов (Батуми, Тбилиси), и национальные черты грузин, и их взаимоотношения с другими нациями.

На этом широком общественном фоне особый интерес представляют страницы, посвященные встречам с грузинскими поэтами и писателями, портретные зарисовки Тициана Табидзе, Паоло Яшвили и других, а также контакты с В. Мейерхольдом и его женой З. Райх, находившимися тогда в Тбилиси.

Очерки довольно объемны, но читаются с неослабевающим интересом. О чем бы ни писал А. Белый — о природе, об искусстве или политике, — всюду мы ощущаем присутствие рассказчика, человека думающего, анализирующего факты и делающего выводы.

Отталкиваясь от конкретных картин, автор делает обобщение о стране «золотого руна»: «Был кружок аргонавтов, еще молодых символистов. Мы верили, что аргонавты причалят в страну «золотого руна»; двадцать лет мы плыли по идейным течениям, вдоль островов очень многих редакций, нигде не задерживаясь, потому что мы плыли вперед и не верили в тихие пристани; но не приплыли, рассеялись к пристаням, я же — приплыл; мы — приплыли, мой спутник и я,—в страну древнюю, в пламенную Колхиду; руна мы не ищем; «руно» — знак всего обновленного мира» (с. 38).

А. Белый чужд чистой экзотики. У него не встретишь описания ради описания, романтической идеализации картин природы, хотя пышный пейзаж Цихисдзири и приводит его в восхищение (он даже считает, что с Цихисдзири не сравнится «хваленая Ницца»).

Но больше по душе писателю скромный и горделивый пейзаж центральной Грузии. Он проводит аналогию между природой и поэзией: пейзаж Аджарии вызывает в памяти стихи Фета, тогда как вблизи от Тбилиси нельзя не вспомнить стихи Пушкина. «Грузия для пушкиниста. Чарующа эта часть Грузии тихой своей простотой; простота же — предел изощрения; здесь грубые вкусы, надувшись, пройдут и отметят: «Природа бедна под Тифлисом». Это сказать — то же самое, как если б выразиться: Пушкин — не задевает; в нем, знаете, как-то все бедно, эмоций нет, вот Надсон...» (с. 62).

Сравнив незнакомую природу со знакомыми и любимыми поэтами, А. Белый приближает к своему миру чувств чужую природу, которая как бы оживает и становится участницей повествования.

Великие русские поэты, художники, бывавшие в Грузии, любившие ее и написавшие о ней много прекрасных произведений, стали как бы посредниками между А. Белым и Грузией. По словам самого автора, грузины и русские «через Пушкина, Врубеля, Лермонтова — уже в поворотимстве» (с. 52). Поэтому неудивительно, что после сравнения грузинской природы со строгим, спокойным и гениальным стихом Пушкина А. Белый пытается проникнуть в сущность народа, в его корни, уходящие в глубокую древность: «Кровь Грузии — старое очень вино, настоявшееся на глубоких страданиях; мы еще в шкурах ходили, а Грузия — выстрадала; первая здесь принимала удары... Да, мы поняли: местности эти — точнейшие ноты, глядишь на них — песни встают» (с. 62).

Интерес к истории неразрывно связан у А. Белого с интересом к современности, к настоящему гордого народа, сумевшего отстоять свою независимость. И в числе проблем, волнующих писателя, одно из первых мест занимают вопросы национальные, в том числе сосуществование в Грузии многих национальностей. А. Белый опровергает бытовавшее в определенных кругах мнение о том, что Кавказ раздираем национальной рознью: «Радует — вот что: я месяц живу здесь, и не удалось мне подметить вражды национальной или религиозной между местными группами: турки, грузины, гурийцы и русские мирно настроены...

Тенденции братства вполне перевешивают национальную рознь, раздиравшую прежний Кавказ...» (с. 40, 50).

Несомненный интерес представляют размышления А. Белого о национальном грузинском типе: «Тип грузина встает передо мной; так вот он какой? Не тот сонный грузин из мо-

сковской шашлычной; тот грузин шлак, как «тот» русский, который в «кацапы» попал к украинцам.

Грузин есть вот этот; Гудиашвили рисует его; я вчера его видел в театре с отчетливым, умным лицом, вырезаемым в тысячелетиях крепкой народной культуры» (с. 72).

Такие обобщения могут возникнуть у писателя, если он постиг суть народа, сумел распознать его душу. Именно этим свойством — умением заглядывать в сущность явлений и обладал А. Белый. Причем, если он знакомился с новым городом, то сразу улавливал его основную тональность, если знакомство предстояло с человеком, старался определить главную черту его характера.

Всякое явление воспринимает он в цвете. Так, Тбилиси представляется ему в сером цвете, и поэт пытается объяснить возникшую ассоциацию: «Серый Тифлис: он — приветливо серый; есть серость, которая — лишь аллегория скуки; и есть серый цвет — просто цвет без всякого примысла; может быть нежен, очарователен он, эти серые здания, серые храмы с серебряными островерхими вышками, серые стены добротны тем древним налетом, пожухлостью многих годин, пролетевших осмысленно, серость отстоя, быть может, столетий, простерлась, как тень некой думы и грусти» (с. 66).

Таким образом, главное для А. Белого в Тбилиси — это его древность, перед лицом которой нельзя сфальшивить и солгать. Но в то же время этот город для художника — живой и действенный источник вдохновения. В Тбилиси каждый находит что-то свое, созвучное ему. Так, осматривая ботанический сад вместе с В. Мейерхольдом, А. Белый убедился в том, что один и тот же пейзаж вызывает у двух художников разные ассоциации.

А. Белый все время видел врубелевские пейзажи, ему мерещились «разбитые радуги крыльев падших ангелов» на лиловато-коричневом фоне, тогда как Мейерхольд повсюду находил декорации для «Героя нашего времени».

Однако первотолчок должен быть очень сильным, чтобы вызвать подобные ассоциации, благодаря которым Тбилиси обретает в сознании писателя новую жизнь и становится близким и родным: «Я пустился за Врубелем; он же (Мейерхольд) за Лермонтовым; инспиратор, Кавказ одинаково действовал, этим брожением жизни Тифлис мне стал жив; как вино, бродит жизнь, бродит мысль, бродят люди» (с. 76).

Мысли о Тбилиси, о Грузии непосредственно связаны у А. Белого с мыслями о сущности творчества, о том, что такое настоящий художник. Наблюдая за Мейерхольдом, А. Белый чувствовал, что это человек одержимый, мечтающий о новом театральном искусстве и стремящийся, невзирая на трудности, неудачи и даже провалы, к достижению своей цели. В разговоре с А. Белым о постановке его драмы «Москва» Мейерхольд говорил о такой головокружительной декорации, что А. Белый подумал: «Немногим ошибся Булгаков, в романе своем предсказавший гибель В. Э. от свержения трапеции с группой голых бояр» (с. 55).

Мейерхольд не обошелся без ошибок, режиссерских надуманностей и вычурностей, но это был большой художник, видевший больше и дальше других, и развитие современного театрального искусства показывает плодотворность и актуальность его деятельности. А. Белый понял это в тридцатые годы, что еще раз подтверждает его проницательность как художника и человека. Судьбы этих двух художников в чем-то схожи: оба пережили трагедию непонимания современниками, и только время, этот самый справедливый судья, расставило все акценты и указало каждому место, которого он достоин.

В очерках «Ветер с Кавказа» А. Белый пытается объяснить и природу своих ассоциаций, выводя ее из сферы подсознательного — сна. Писатель отвергает обвинения критиков, считающих его мистиком: «Сон есть предмет зарисовки, как всякий предмет; если б критики поняли это, они перестали б гвоздырить, что «мистик»-де; поняли б, я — зарисовщик весьма интересного мира, имеющего свою логику, скошенную, протекающую с нашей логикой под углом эдак градусов в сорок. Дневное сознание в миги пробуда нам скашивает содержание снов; что-то выпало в воспоминании сна, его стержень всегда — музыкальная тема; а образы — после пробуда встают, то — концовки к утраченному содержанию; утрата совершается в миг пробуждения» (с. 42).

Эти мысли звучат очень современно. Интерес в литературе последних десятилетий к сфере подсознательного в психологии человека говорит о том, что его поиски не пропали даром. Так и посмертные судьбы Мейерхольда и А. Белого в чем-то пересеклись.

Однако при всем внимании к подсознательному он живо интересуется и плодами сознательной деятельности людей. Его поражает и восхищает размах строительства в Гру-

зии: «Я удивляюсь энергии строящих жизнь: всюду — труд проведения дорог и шоссе, всюду — ширится сеть просвещения; проекты, прокладки, вчера неприступные местности — стали проходими; электрификация забирается в недра страны, говорят: будет мощная станция здесь, как отстраиваемый РинГЭС, как ЗАГЭС, уже конченный» (с. 34).

После осмотра ЗАГЭСа А. Белый находился под таким сильным впечатлением, что даже Джвари и Светицховели отступили перед этой живой легендой.

Памятник В. И. Ленину потряс А. Белого так же, как и Горького и Кольцова. Но если Горький заостряет внимание на скульптурном решении памятника, Кольцов останавливается на мысли о том, что памятник Ленину — символ борьбы за «пересоздание старого мира», то А. Белый со свойственным ему чувством историзма воспринимает памятник на фоне древней храмовой культуры, окружающей его: «Над ревом Куры, обрамленный отвесами, Мцхетом, плотиной, под Мцъри — уместен он; в фокусе прошлого, будущего, настоящего, Мцъри — и Ленин; или: Свети-Цховели — и Ленин. Ведь Мцъри когда-то прославленный был монастырь, в V веке воздвигнутый: здесь, до него, поднималось над местностью — капище идола; место скрещенья культур стало и третьей культурой, железобетонной» (с. 97).

Как видим, А. Белый, действительно, широко охватил проблемы, связанные с жизнью Грузии, с ее прошлым и настоящим. Но впечатление о стране не может быть полным, если не познакомиться с ее поэтической культурой. Великие русские писатели чисто абстрактно посредничали между А. Белым и Грузией, а во всей полноте и многообразии эту задачу взяли на себя грузинские поэты — «голубороговцы», имена которых были хорошо известны ему через С. Городецкого и С. Есенина. Но лично он не был знаком ни с кем из них. Первым грузинским поэтом, завязавшим знакомство с А. Белым, оказался Паоло Яшвили, который посетил его в Боржоме и сразу очаровал: «Мне навстречу поднялся высокий, спокойного вида брюнет с умным, острым лицом, в черной шляпе с полями; с тихим достоинством, неторопливо и сдержанно он подошел и, немного конфузясь, представился мне» (с. 97).

Разговор зашел, естественно, о символизме, о «Голубых рогах», о французских и русских символистах. В процессе

беседы перед А. Белым выросал облик П. Яшвили — большого поэта и великолепного знатока литературы: «Большой человек, с кругозором широким, с отточенной мыслью, с культурой чувств, сквозь которую виднеется крепкая сталь отчеканенной выдержки. Дивился, как он знает русскую литературу. Его замечания о Блоке, Бальмонте и Брюсове тонки, отчетливы, трезвы; он много себе уяснил; в нем поэт и общественный деятель слиты; он, став на советской платформе, — живет в современности, соединяя в себе достижения революционного быта с кипением лучших порывов вчерашнего дня» (с. 146).

Приехав в Тбилиси, А. Белый знакомится со многими грузинскими поэтами: с В. Гаприндашвили, А. Арсенишвили, К. Надирадзе, Г. Леонидзе. Но особенно сблизился он с П. Яшвили и Т. Табидзе, причем общение с двумя лидерами грузинской поэзии позволило тонкому наблюдателю определить, что они — «двуединство»: «Провел этот день с утра до ночи с близкими братьями по устремлению культуры искусств: с Тицианом Табидзе и с бронзово-твердым и все же сердечным Паоло Яшвили, он — бронзовый, вылитый из размышления, ставшего сердцем; Табидзе — сердечный вулкан, бьющий пламенем в мысль, отчего расширяется сердце, — и вещи, мудрые мысли выкрикивает, ретушируемые Яшвили, которого острый рассудок утонченно преображает вулкан Табидзе в породы изваянных скал, в барельефы культуры: пыл первого голову рвет, расширяется — приобретает космический смысл, отчего стало б холодно, если б П. Яшвили потоки, взметенные к небу, сознанием не осадил в атмосферу земную, в которой вулкан вещей слов из беседы застольной и тостов Табидзе становится очеловеченным и оконкреченным» (с. 167).

Сильная личность Паоло Яшвили захватила А. Белого, и, по свойственной ему склонности к ассоциациям, он сравнивает его по силе воздействия на молодых поэтов с Брюсовым: «Тем, чем был Брюсов для нас, молодежи, в начале столетия, в первые годы его, — тем Яшвили мне видится для поэтической Грузии, — с тем, разумеется, ярким различием, что годы — не те, что эпоха, в которую живем, развернула градацию школ» (с. 167).

Знакомство и дружба с грузинскими поэтами обогатили впечатления А. Белого, помогли ему узнать, чем живет поэтическая Грузия, какие яркие имена составляют ее славу. И, уезжая, писатель увозил теплое чувство к своим грузин-

ским собратьям по перу: «Я горжусь: оказавшись в Тифлисе, братался с семьей трудовой, с семьей творческой, мог поэт русский пожать братски руку, как русский — грузинам, да, есть федерация братских народов, сквозь разность оттенков, наложенных прошлым на нас, освещены мы не прошлым, а будущим, формы кующим; и в нем, в этом будущем, — творческом и трудовом — мы большая семья» (с. 168).

Для А. Белого приезд в Грузию не был случайным эпизодом. Его связывала с грузинскими писателями большая дружба.

Сердечность и благодарность за теплый прием чувствуются и в письме А. Белого к Н. Табидзе от 20 августа 1929 года: «Глубокоуважаемая и милая Нина Александровна!

Уезжая из Тифлиса, не могу не написать Вам несколько строк, — тем более, что дух Ваш все время парил над нами все эти последние дни и потому, что Вас вспоминали, и потому, что жили в Вашем доме. И хотя Вас не было, однако Вы — были: Вы были в том сердечном тепле и человеческом благоволении, которые мы ощущали в самих эманациях стен; кроме человека, с которым нас связывают сердечные отношения, над нами все время невидимо господствовала и хозяйка дома, оказавшего нам необычайное гостеприимство, и этого гостеприимства мы не забудем никогда; конечно, физически и морально был выразителем тепла и ласки, которые мы ощущали, Тициан, которого мы вдвойне и втройне полюбили и оценили как человека, поэта и друга»¹.

В очерках А. Белого «Ветер с Кавказа» читатель знакомится с жизнью и бытом Грузии, с ее политическим и культурным укладом. Но главное достоинство книги в том, что она вызывает сопереживание. И если в 80-е годы личность писателя, его человеческая индивидуальность признаны залогом роста нашей публицистики², то не следует забывать и того, что уже в 30-е годы лучшим произведениям жанра путевого очерка это свойство было присуще в полной мере.

¹ Письмо А. Белого к Н. Табидзе. (Из личного архива Т. Табидзе, хранящегося в Музее дружбы народов АН ГССР — осн. ф. 2524).

² Рубашкин А. Путешествие вслед за мыслью. Вопросы литературы, 1979, № 8, с. 35.

**К 90-ЛЕТИЮ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
КОНСТАНТИНЭ
ГАМСАХУРДИА**

Тенгиз КИКАЧЕЙШВИЛИ

**ОБОГАЩАЯ
РОДНУЮ
ЛИТЕРАТУРУ**

●

**КОНСТАНТИНЭ ГАМСА-
ХУРДИА О ТВОРЧЕСТ-
ВЕ Л. ТОЛСТОГО И ГО-
ГОЛЯ**

●

АНАЛИЗИРУЯ произ-
ведения Шота Руста-
вели, Сулхана-Саба Орбелиа-
ни, Гурамишвили, Ильи
Чавчавадзе, Акакия Церете-
ли, Важа Пшавела, Галак-
тиона Табидзе, Гете, Байро-
на, Бальзака, Томаса Ман-
на, Уолта Уитмена, Эдгара
По, Генрика Ибсена, Риль-
ке, Льва Толстого, Гоголя,
Достоевского, Исаакяна и
других авторов, К. Гамса-
хурдиа касался вопросов
жанра, художественного ме-
тода, композиции, структу-
ры повествования, сложных
взаимосвязей человека и об-
щества, особого отношения
человека к природе. Выска-
занные им соображения сви-
детельствуют о счастливом
сочетании в нем лирика, но-
веллиста, романиста и лите-
ратуроведа.

Особого внимания заслу-
живает отношение грузин-
ского писателя к русскому
искусству и культуре.

«Уважение к русской
культуре не раз высказано
мною в статьях о Толстом,
Гоголе и Достоевском, во
многих моих выступлениях
как с трибуны, так и на
страницах прессы», — за-
являет сам Гамсахурдиа.

Интерес к творчеству
Льва Толстого и Гоголя, а
также других писателей ока-

зывает определенное влияние на его творческие устремления, эстетическое кредо и поэтические нормы.

В статьях «Лев Толстой» и «Гоголь» особое внимание уделено их отношению к эпосу. Такая заинтересованность обусловлена признанием Гамсахурдиа главной ареной проявления таланта писателя жанров романа и новеллы: «Национальная письменность только тогда становится литературой, когда в основу ее ложатся эпические творения... Литература как таковая начинается только с эпоса».

Высоко оценивал он роль Льва Толстого в развитии русского романа, а Гоголя выделял как эпика.

В статье о Льве Толстом им вкратце прослежены некоторые этапы развития романа. По его мнению, средневековый роман ограничивался сферой адюльтера, он не мог, конечно, дать глубокого отображения человеческой жизни, что является основной целью этого высокого эпического жанра.

Затем, отмечая заслуги великих романистов Франции в развитии данного жанра, Гамсахурдиа подчеркивает, что Золя, Бальзак, Флобёр требовали от романа отражения жизни века во всех ее проявлениях, ясной философской концепции автора, который должен был быть в курсе современных ему достижений анатомии, биологии, физиологии, психологии и многих других наук о человеке, и вместе с тем глубокого исторического анализа.

Все вышесказанное учтено грузинским писателем при оценке творческого гения Льва Толстого, чье литературное наследие в полной мере свидетельствует о безграничных возможностях этого жанра. «Грандиозные панорамы, созданные Толстым, поистине являются зеркалом жизни, отразившим в себе все, начиная с царского дворца и кончая хижинкой последнего крестьянина», — заключает Гамсахурдиа.

Каждый значительный аспект индивидуальной и общественной жизни получает в литературе специфическое отображение в определенном жанре. Л. Толстой любую проблему выражает в основном через жанр романа и рассказа, хотя известно, что его художественное творчество не ограничивается лишь этими формами.

Каждому жанру, в том числе роману и рассказу, присущ соответствующий закон, действующий в литературе как реальная историческая ценность. Модифицировать этот закон не так просто, хотя, разумеется, данное обстоятельство не в силах помешать роману и рассказу находить новые средства для художественного отображения жизни. Лев Толстой, как истин-

но великий творец, обогатил жанровую структуру романа и рассказа множеством оригинальных признаков, оставив на ней печать своей писательской индивидуальности.

Сравнивая творчество Льва Толстого с морем, К. Гамсахурдиа называл его столь же необъятным и глубоким. Как-то один литератор-декадент сказал о Л. Толстом: «Можно ли столь безгранично расписывать безграничное?» Вот как комментирует это высказывание грузинский писатель: «В действительности же безграничное и на первый взгляд бесконечное в своем течении повествование Толстого является результатом вовсе не отсутствия композиционной стройности, а избытком у художника творческих сил. В самом деле, Толстому свойственны многочисленные лирические отступления и авторские раздумья. Порой в самом разгаре повествования он нарочито оставляет магистральную линию и создает новые ситуации, новые оттенки настроения.

И весь секрет тут в том, что Толстой в «Войне и мире» полностью полагается на колдовские чары своей художественной речи, и ему, действительно, ни на один миг не изменяет чутье. Плененный читатель с восхищением следует за повествованием, накатывающим с неукротимостью морского вала».

Следовательно, можно утверждать, что Льву Толстому было под силу бесконечно писать о безграничном. Глубокое познание единого мира — вот главная идея творчества этого титана. Ясно, что для решения подобной задачи необходимо именно умение «писать бесконечно».

«Кое-кому, вероятно, неизвестно, что если писателям не особенно высокого ранга и в самом деле следует точно придерживаться рамок, предписанных фабульной канвой, то гении и великие таланты вовсе не нуждаются в каких-либо нормах и рецептах, предписанных схоластами теории словесности, ибо то, что дозволено Юпитеру, не позволено быку».

Эти слова Константина Гамсахурдиа характеризуют Льва Толстого как эпика мирового масштаба.

В своей статье он подчеркивает отношение Ленина ко Льву Толстому, его творчеству, специально отмечает то обстоятельство, что Ленин, признавая гениальность Толстого, критиковал этого «пламенного протестанта» и «страстного обличителя и великого критика», который не сумел вникнуть, правильно понять причины царящего в русской действительности кризиса.

По образному выражению Гамсахурдиа: «Подобно тому, как лев не ведаёт, что за сила заключена в его когтях, так и Лев Толстой не ведал, какую огромную художественную потенцию таит в себе его гений; потому-то его и потянуло к безнадежному философствованию, которое отнюдь не прибавило новых лучей к ореолу его славы. Философствование было одним из проявлений его неистовой природы: не удовольствовавшись огромной славой художника-творца, он пожелал взять на себя роль проповедника. Это и привело к тому, что он попытался заключить свое творчество в религиозные рамки».

По мнению Гамсахурдиа, Л. Толстой стал «неохристианином» и «философом-аскетом», потому что ему было присуще высокое нравственное чувство. «Живи Толстой в средние века, он стал бы великим народным вождем... Он был титаном, подобно Моисею, изваянному в мраморе Микеланджело».

Заслуга Льва Толстого как великого художника, непревзойденного мастера русского слова, настолько велика (и не только перед родной, но и перед мировой литературой), что его неохристианские проповеди и даже аскетическая философия, сохранив лишь свое культурно-историческое значение, как полагает Гамсахурдиа, не причинили никакого ущерба славе писателя.

Глубоко и с большим литературным вкусом рассматривает писателя и творчество Гоголя. В посвященной ему статье им дана такая лаконичная формулировка: «Гоголь был тончайшим лириком, таким же эпиком и великим мастером драмы». Подобно Бальзаку и Льву Толстому, отмечает К. Гамсахурдиа, Гоголь придавал роману значение высокой поэзии. «Вовсе не случайно Гоголь назвал свои «Мертвые души» поэмой — он метил очень далеко. Действительно, описание любви Вис и Рамина в оригинале носило название поэмы, а грузинский переводчик переделал поэму в роман. «Вепхисткаосани» же Руставели является поэмой, и тем не менее именно им заложено начало оригинального грузинского романа».

Как видим, Гамсахурдиа полагает, что «Мертвые души», эту величайшую поэму, изображающую русскую действительность, можно назвать и романом. Хотя известно, что интрига, характерная для произведения этого жанра, здесь

отсутствует. Зато в ней четко проявляется оригинальное художественное лицо Гоголя, а его реализм достигает своей высшей точки.

Особым достижением Гоголя Гамсахурдиа признает намеренно укрытую от глаз читателя трагическую напряженность и с удивительной скульптурной пластичностью выдвинутое на передний план комическое начало. По мнению Гамсахурдиа, именно в этом свойстве — нечто общее с шекспировской манерой.

Произведения Гоголя оказывают воздействие на эмоции читателя, независимо от его национальной принадлежности. «Его считают «своим» не только русские, но и грузины, украинцы, белорусы, таджики, как и все вообще люди доброй воли во всем мире», — утверждает К. Гамсахурдиа.

Отношение писателя к человеку, персонажу, ко всем без исключения действующим лицам определяет его творческий метод, глубину мировоззрения, художественное лицо и характер. «Согласно современному миропониманию, личность есть центральная фигура в вихре космических сил», — заявляет Гамсахурдиа. Писатель органично осваивает литературные традиции изображения человека, намечает новые пути. Он пристально наблюдает, как рисуют духовный мир человека Л. Толстой и Гоголь. Заостряя наше внимание на своеобразии изображения человека, присущем Льву Толстому, отмечает, что он мастерски выявляет как «мрачные, теневые стороны», так и «светлые» и особенно — «человеческую способность любить».

Лев Толстой, замечает Гамсахурдиа, «бичует низость и малодушие и возвеличивает правду, стойкость и мужество... Мало кто с такой пронизательностью и настойчивостью, как он, заглядывал в самую глубь человеческой природы. И не только заглядывал, аналитический талант позволил Толстому изобразить целую галерею пройдох, развратников, людей, лишенных чести и совести, и наряду с этим любовно выписать образы людей благородных, кристально чистых душой, способных на самопожертвование во имя высоких идеалов, несравненных рыцарей чести».

Большое место в своем творчестве К. Гамсахурдиа отводил изображению душевных переживаний человека.

В процессе психологического познания его как писателя привлекают не только теневые стороны. Разумеется, Гамсахурдиа не игнорирует их в своем творчестве, хотя считает необходимым придерживаться определенных границ в изображении

темных сил в человеке. В этом отношении Л. Толстой является для него образцом. По его мнению, «Лев Толстой мастерски рисует мрачные, теневые стороны человеческой природы, но при этом он — апологет человеческого достоинства. Он и сам был человеком высокого духовного склада, мужественным и стойким в жизни и труде. В этом отношении литературу, «как удел педагогики», — пользуясь выражением Гете, — следует видеть именно в творениях Толстого».

О величайшей роли изображения человека в литературе, о ее масштабности свидетельствуют слова Гамсахурдиа о Гоголе: «Как бесследно канули бы в небытие все эти городничие, хлестаковы, ляпкины-тяпкины, все эти тупоголовые и бездушные чиновники, погрязшие в безделье и чревоугодии, служители церкви и помещики, золотопогонные офицеры и генералы со всеми их тайными страстями и побуждениями, когда бы не проницательный взор писателя, увидевшего всех их в истинном свете, когда бы не его гениальная кисть, запечатлевшая все подмеченное в многокрасочном калейдоскопе, который следует назвать человеческой комедией с сатирическим уклоном».

Здесь имеется в виду гоголевская способность отображать не только масштабность сложных процессов движения человеческой души, но и ее тончайшие нюансы.

С лапидарной четкостью описывая внешность героя, его мимику, одежду, манеры и повадки, Гоголь в то же время выступает как большой мастер детальной обрисовки и исчерпывающей характеристики персонажей, что, по мнению Гамсахурдиа, подтверждается авторскими ремарками. В качестве иллюстрации рассматриваются авторские ремарки к «Ревизору» — «Замечания для господ актеров».

Затем грузинский писатель отмечает исключительность тематики гоголевского эпоса, яркую красочность его многочисленных персонажей, незаурядность и оригинальность фабулы.

«Мировая поэзия знает много удивительных новелл. Вспомним хотя бы Эдгара По и Гофмана. Новеллы Гофмана сухи и скучны, своей чрезмерной неестественностью они граничат с абсурдом», — пишет Гамсахурдиа. На его взгляд, рассказ Гоголя «Нос» так же «необычен», но он «написан с величайшей экспрессией, пронизан тонким юмором», в нем «нашла отражение одна характерная черта эпохи бурно развивавшегося в Европе XIX века капитализма и приближавше-

гося к своему распаду феодализма. Как известно, стоящее на пороге смерти общество всегда тревожат галлюцинации и призраки».

Считая «Нос» и «Портрет» Гоголя шедеврами мировой литературы, Гамсахурдиа производит их детальный анализ.

Творчество Гоголя есть достояние всего человечества. Гамсахурдиа определяет причины бессмертия литературного наследия писателя: «Гении еще и тем отличаются от обыкновенных писателей, что, глядя в созданное ими зеркало, люди любой эпохи узнают в нем себя со всеми своими страстями».

В статьях «Лев Толстой» и «Гоголь» затронута специфика изображения картин природы в произведениях этих писателей. Сам величайший мастер описания природы, Гамсахурдиа имел на этот счет принципиальные соображения. Естественно, что становлению этих принципов во многом способствовало внимательное отношение к творчеству других писателей.

Уяснение закономерностей изображения природы в произведениях писателя во многом способствует выявлению основной направленности художника, его идейно-критического кредо, внутренней сущности персонажей.

Как известно, в художественном произведении пейзаж может носить эпический, лирико-психологический характер, а также являться показателем социального направления, а иногда иллюстрацией среды, явлений, ситуаций и т. д. Во всех случаях роль пейзажа значительна. По этому поводу Гамсахурдиа высказывает очень интересную мысль: «Велик не тот поэт, который стряпает некое месиво из забавных историй и развлекательных мыслей, а тот, кто с равным мастерством изображает и природу, это русло жизни, и типы людей, живущих в окружении этой природы».

Гоголя Гамсахурдиа считал создателем блестящих пейзажей, воздающих хвалу русской природе, а Л. Толстого — непревзойденным мастером проникновения в ее характер и образ.

Особое внимание в творчестве Льва Толстого и Гоголя грузинский писатель уделяет вопросу пейзажной живописи. Он подчеркивает блистательность мастерства Гоголя-живописца. Его чаруют гоголевские изумруды, топазы, яхонты, голубиные и серебряные цвета, темнота ночи и сияние солнца. «Возможно, кое-кому почудится здесь некая патетичность или страсть «писать красиво», — пишет он, — так как не все понимают, что при описании южной природы сам материал дөвлеет над автором».

Когда Л. Толстой увидел южную природу, его живопись претерпела некоторые изменения: «Так, например, попав на Кавказ, Пушкин, Лермонтов, да и великий мастер писать просто Лев Толстой под влиянием грандиозности и красочности кавказской природы начинали писать гораздо более образным языком, чем при обрисовке спокойных северных ландшафтов».

В представлении Гамсахурдиа, кавказские рассказы Льва Толстого являют собой несравненный образец внимания к природе Кавказа, и он приводит действительно блестящие примеры из «Хаджи-Мурата» и «Кавказского пленника».

Вдумчиво изучая характер отношения Л. Толстого и Гоголя к природе, Гамсахурдиа предлагает интересные заключения на этот счет. В частности, он считает, что в творчестве русских писателей имеются блистательные примеры гармонии между человеком и природой, показан сложный процесс их взаимоотношений.

Думается, высказываниям Константи́не Гамсахурдиа о творчестве Льва Толстого и Гоголя должно быть отведено соответствующее место в процессе изучения художественного наследия русских писателей. Тем более, что развитие национальной литературы, согласно его суждениям, невозможно вне связи с литературой других народов. Оценив по достоинству творчество европейских, американских и русских писателей, Константи́не Гамсахурдиа тем самым обогатил родную литературу и культуру.



«ВСЕГДА ТВОЙ АВЕТИК ИСААКЯН»

Неопубликованные письма
Аветика Исаакяна Констан-
тинэ Гамсахурдиа

НЕ ТАК давно фонды Музея дружбы народов Академии наук Грузинской ССР обогатились новым приобретением — сюда поступила часть личного архива Константинэ Гамсахурдиа. В довольно обширной подборке писем, полученных грузинским писателем от собратьев по перу самых разных национальностей, — два письма и от армянского друга — Аветика Исаакяна (фонд № 10, ед. хр. 9598, 9599). В них привлекает внимание примечательный факт: оба письма написаны на армянском языке, которым хорошо владел Константинэ Гамсахурдиа. Аветик Исаакян высоко ценил дружеские чувства грузинского писателя к армянскому народу, его языку, который был ему близок и дорог, как родной.

Публикуемые впервые письма Аветика Исаакяна к Константинэ Гамсахурдиа — еще одна страница в летописи дружбы грузинской и армянской литератур. Раскрывая ряд новых фактов и подробностей, освещающих биографии Аветика Исаакя-

на и Константинэ Гамсахурдиа периода Великой Отечественной войны, они дополняют и обогащают наши представления об истории дружбы и сотрудничества двух выдающихся деятелей братских литератур, ближе знакомят с армянским окружением К. Гамсахурдиа, его тесными личными и творческими связями с армянской литературной и культурной общественностью.

* * *

10 июля 1942 г.
Ереван

Дорогой друг Константин!

С благодарностью получил твоё письмо, любимый Котэ, и рад, что ты жив-здоров и находишься теперь у себя дома, рядом с любимыми детьми и очаровательной женой. Очень рад также, что проведенные в Армении дни оставили в твоём сердце столь хорошие воспоминания, что радостный и довольный ты возвратился к её сестре — Грузии.

Все наши друзья, с которыми ты познакомился, Сарьяны и другие, тепло и с уважением вспоминают тебя и хотели бы чаще видеть в Ереване, находиться в атмосфере возвышенных идей, которая создавалась в твоём присутствии, бесед об искусстве, литературе, философии, о подлинной великой культуре...

С особым волнением вспоминаю о нашем турне по Армении — Бджни, Гарни, Гехард и связанные с этими восхитительными местами увлекательные беседы, вобравшие жизненный опыт, знание... Это было поэти-

чески - философское путешествие.

Дорогой друг, наш великий священный Союз победит фашизм. Пожелаем же, чтобы это свершилось скорее, и ты снова приедешь в Армению, и тогда мы с еще большей радостью совершим путешествие по берегам Севана, где столько мистической красоты, побываем в удивительном Зангезуре, героическом Сюнике.

Я передал твой привет Сарьянам и всем остальным. Они также передают тебе сердечный привет. Г. Абов постарался выполнить данное тебе обещание.

Дорогой Котэ. Передай твоей прекрасной супруге Миранде заверение в моей любви и уважении.

Прими мой горячий привет.

Всегда твой
Аветик Исаакян.

29.XII.43
Ереван

Дорогой друг Константин!

С большой радостью получил твою поздравительную телеграмму. Спасибо за братские чувства. Давно не имел от тебя никаких вестей. Много месяцев назад написал ответ на твое письмо, в котором ты просил мои вещи для перевода, а также

мои биографические данные. Как помнится, я уже писал, что в тот период был очень занят и отложил это дело на некоторое время.

Между прочим, в этом году я много странствовал по Армении, был в родном Шираке, в моем городе Леникане, притом целый месяц, находился в Алагязе — на горе Арагац, в разных горных селах пробыл полтора месяца, в Мегринском районе взбирался на прекрасные горы Зангезура, был также на берегах Аракса, непосредственно прилегающих к границам Ирана. Все это было интересно в историческом и этнографическом отношении. А сейчас занят практическими вопросами создания Академии.

Очень хотел бы хотя бы на короткое время приехать в Тбилиси. Но зима полна трудностей. Как только наступит весна, попытаюсь приехать.

Всем сердцем и с наилучшими пожеланиями поздравляю с Новым годом твою прекрасную супругу и дорогих детей.

Привет от всех нас — моей супруги, невестки и сына.

Будь здоров, любимый Котэ.

Всегда твой
Аветик Исаакян.

Перевод и публикация
Ламары САРИБЕКОВОЙ.

«ИНТЕРНАЦИОНАЛИС- ТЫ—МЫ!»

ВЫШЕДШАЯ в минувшем году в свет новая книга В. А. Шошина «Интернационалисты — мы!» посвящена проблемам взаимодействия национальных литератур, исследованию интернациональной сущности советской литературы, единства интернационального и национального в социалистической культуре.

Рассматривая процесс развития советской литературы на протяжении более полувека, автор выделяет основные его этапы, ведущие тенденции, используя при этом обширнейший материал — художественный, исторический, философский.

Масштабность используемого материала нигде не приводит к упрощению анализа, к скороговоркам. Выводы автора всегда обоснованы, анализ — обстоятелен и убедителен. В. Шошин хорошо чувствует художественное слово, внутреннее движение образа, умеет раскрыть неповторимые особенности творческой индивидуальности. Он ярок, утверждая, что наиболее выдающиеся идейно-эстетические свершения имеют место тогда, когда индивидуальное своеоб-

разие опирается на актуальную и общезначимую проблематику. Читателю несомненно запомнится анализ творчества Леонида Леонова, Ларчыс Рейснер, Павла Лужницкого, Эльмара Грина и других, подтверждающий это положение.

Особое внимание в книге уделено национальному характеру, логике его развития. Тщательно прослеживаются в нем интернационалистские черты, диалектика национального и социального в его мировоззрении.

Анализируя произведения А. Фадеева, К. Федина, Д. Фурманова, Н. Тихонова и других художников слова, в творчестве которых нашли воплощение интернациональные герои и интернациональная действительность, В. Шошин наглядно показывает, что их появление было обусловлено, прежде всего, общественно-социальными процессами, зарождением и формированием новой исторической общности советских людей. Расширяя тематику, русская советская литература оживляла жизнь братских республик, народов зарубежных стран, познавала заморские характеры интернациональных героев, вековые традиции и новаторство интернациональной культуры. Все это обогащало творчество русских писателей, придавало их произведениям масштабность, новое интернационалистское, нравственное звучание, новые краски.

С особой теплотой говорит в книге о грузинской культуре, которую открывала для себя общечеловечность России и других республик. В. Шошин пишет: «... насколько беднее были бы мы, не зная негромкой, но многострунной лирики Тациана Табидзе, бурной, жиз-

Шошин В. Интернационалисты—мы! К проблеме взаимодействия национальных литератур. Советский писатель. Ленинградское отделение. 1982.

нерадостной, неустойчивой музы Георгия Леонидзе, неторопливого, вдумчивого и глубокого Симона Чиковани, Саидро Шаншиашвили, Григола Абашидзе».

В год, когда советская общественность широко отмечает двухсотлетие Георгиевского трактата, с особой силой звучат приводимые в книге слова Николаоза Бараташвили «Будущее Грузии в России», строки из поэмы «Судьба Грузии», в которых грузинский поэт выражал уверенность, что под покровительством России кончатся обиды и гонения его народа. «Русский народ дал Грузии защиту от иноземных захватчиков, принес ей свою дружбу», — пишет автор. Говоря о расцвете этой дружбы после Великой Октябрьской социалистической революции, он останавливается на творчестве Галактиона Табидзе — свидетеля октябрьских свершений. «Непосредственность впечатлений, — справедливо полагает В. Шошин, — придавала эмоциональную силу уже первым стихам поэта, посвященным теме революционного обновления действительности».

Узы дружбы связали самого автора книги с Грузией еще с начала 50-х годов. Исследователь творчества Н. Тихонова, он прошел здесь много троп по его следам, побывал в самых отдаленных уголках Грузии, познакомился с ее историей, искусством, литературой. Будучи сам поэтом, перевел

стихотворения грузинских поэтов на русский язык. Примечательна надпись на книге «Николай Тихонов», присланной В. Шошиным одному из литературоведов республики: «...примите эту новую книгу о Н. Тихонове в подтверждение моей неизменной привязанности к Вашей замечательной Грузии!»

Сказанное подтверждает, как глубоко проникал В. Шошин в материал, отбираемый для книги, стремясь возможно глубже раскрыть содружество социалистических культур, едина в своем мировоззрении, задачах, художественном методе, но различных по национальной специфике. Об этом же свидетельствуют и страницы, посвященные литературе и искусству других братских республик, во многих из которых он побывал. Монаграфия, таким образом, построена не только на художественном материале, но и вообрела в себя непосредственные жизненные наблюдения автора, доведенные им до уровня широких типических обобщений.

Чувство сопричастности ко всему происходящему в стране, идущей к коммунизму, активно борющейся за мир и дружбу между народами, способствует яркому и выразительному отображению единства, жизненности и гуманизма советской многонациональной литературы.

Валентина БАЛУАШВИЛИ

ЗАМЕЧАНИЯ И ПОЖЕЛАНИЯ

ОБ ИНФОРМАЦИОННОМ ИЗДАНИИ «ФИЛОЛОГИЯ»

РЕШАЮЩИМ фактором совершенствования информационного обеспечения специалистов в нашей стране явилось создание отраслевых центров информации, которые были организованы и в Грузии. Среди них следует отметить Сектор научной информации по общественным наукам при Академии наук Грузинской ССР. Он издает научно-вспомогательные библиографические указатели. Мы остановимся на одном из них — справочнике «Филология», в частности на его разделе «Литературоведение».

В этом ежегодном издании, напечатанном на ротапринтере, регистрируются работы по литературоведению и литературной критике, опубликованные в Грузии в течение учетного года на грузинском, русском, абхазском и осетинском языках. В нем содержится информация о книгах, брошюрах, сборниках, авторефератах, журнальных статьях.

При их характеристике мы будем привлекать материал двух последних выпусков (1980, 1981 гг.).

Само заглавие ежегодника «Библиография-81. Филология» не соответствует действующему в настоящее время Государственному стандарту по библиографии. Термин «библиография» не используется для обозначения отдельных библиографических указателей. Вернее было бы назвать рассматриваемое пособие «Филология - 81. Библиографический указатель».

Каждый раздел ежегодника (в том числе «Литературоведение») состоит из двух параллельных частей. В первой — описание как грузинских, так и русских работ дано на грузинском языке, во второй — на русском. Таким образом, описание грузинских материалов во второй части переведено на русский язык, а описание русских — в первой части на грузинский, с указанием языка оригинала. Такой языковый параллелизм представляется нецелесообразным. Он увеличивает объем библиографического издания, не обогащая его «информационности».

Указатель рассчитан на литературоведов, преподавателей высших учебных заведений и школ, пропагандистов, литературных критиков и библиотечных работников. Его распространение, видимо, предусмотрено в основном в пределах республики (тираж 300 экз.). И вряд ли такому квалифицированному потребителю информации, живущему и работающему в Грузии, требуется перевод заглавий книг и статей с грузинского на русский и тем более — с русского на грузинский язык.

Устранение «переводов» принесет значительную экономию

труда, времени и бумаги. За счет этого можно увеличить число учитываемых источников. Очень желательна информация о литературно-критических статьях, публикуемых в еженедельной газете «Литератури Сакартвело», а также сведения о работах в авторских сборниках. К примеру, книга Г. Е. Гвердцители «Литературные письма» (405 с. см. 81 г. — 48) включает статьи о проблемах реализма, о Н. Думбадзе, Н. Тихонове и другие. Не раскрыто содержание и других авторских сборников (см. 81 г. — 35, 71, 80; 80 г. — 23, 28, 30, 46)¹. А ведь специальным библиографическим указателям надлежит давать более полную и подробную информацию по отрасли знания. Содержание авторских сборников можно раскрыть при их описании с отсылкой к ним от соответствующих разделов. Но система номерных отсылок почему-то не применяется составителями.

Между тем встречаются случаи учета непрофильной литературы: исторической, педагогической, искусствоведческой. В статье Г. Жордания «Из газетной летописи» (81 г.—260) дана хроника музыкальной и театральной жизни Грузии начала XX века. Нашу мысль подтверждают и статьи о «крестьянском вопросе», о педагогическом журнале «Ганатлеба» (81 г. — 262, 266), о селе Шатили, педагогических взглядах И. Чавчавадзе (80 г. — 275, 206).

Для систематизации материала составители библиографического указателя «Филология»

используют рубрикатор Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) Академии наук СССР. Но наполнение многих рубрик вызывает возражение. К рубрике «Литературоведение и литературная критика» можно причислить весь рецензируемый нами раздел «Литературоведение», но при наличии более частных рубрик там помещаются книги и статьи общего (обзорного) характера по истории и теории литературоведения и литературной критики, публикации о деятельности известных литературоведов и критиков. Верно названы статьи типа: «Грузинская литературная критика, вчера, сегодня, завтра» (81 г. — 46), «О вопросах объективности литературоведения и критики», «Литературная критика в газете «Тифлисский вестник» (80 г. — 33, 39). Но значительная часть работ должна находиться в других отделах. Так, «К оценке одного рассказа С. Мгалоблишвили», «По поводу романа «Тяжелый крест», «Поэтический взгляд Колаш Надирадзе» (81 г. — 26, 59, 62), «Гр. Рчеулишвили и грузинский сентиментализм». «К генезису одного рассказа М. Джавахишвили» (80 г. — 13, 48) следовало поместить в отделе грузинской дореволюционной и грузинской советской литературы.

В ежегоднике за 1981 год введена рубрика «Литература, посвященная 60-летию установления Советской власти в Грузии и создания Компартии Грузии», которой открывается раздел «Литературоведение». На наш взгляд, место этой рубрики вслед за рубриками «Основоположники марксизма-ленинизма и литература»,

¹ Номера указаны по русской части ежегодника.

«Коммунистические и рабочие партии и литература» в части «Литературоведение и литературная критика в СССР».

Некоторые статьи, указанные там, не отвечают содержанию рубрики: «О произведениях грузинских драматургов, опубликованных в 1979 году», «Несколько слов о сегодняшней грузинской поэзии», «Тема дружбы народов Советского Союза в поэзии Георгия Леонидзе» (81 г. — 6, 73, 8). В то же время аналогичная статья «Тема дружбы народов Советского Союза в творчестве И. Нонешвили» дана под рубрикой «КПСС и литература» (23). Все вышеназванные статьи относятся к рубрике «Грузинская советская литература».

Под рубрикой «Теория литературы» с подрубриками «Художественные методы, литературные стили и направления», «Виды и жанры литературы», «Вопросы художественного перевода» и другими находят место работы теоретического содержания, такие как «К вопросу о динамичности поэзии», «О разграничении художественного времени и невременного в поэзии» (81 г. — 101, 111), «О выявлении особенностей трагического и комического в драматических жанрах» (80 г. — 58). Но к этой рубрике не относятся зарегистрированные там «Художественная проза Давида Клдйашвили», «Историческая действительность в рассказе И. Чавчавадзе «Человек ли он?!», «Стих Важа Пшавела» (81 г. — 94, 98, 105), «Проблема жанра в психологических новеллах Фолкнера», «Грузинское стихотворение в 1979 году», «Грузинская дра-

матургия 80-х годов XIX века» (80 г. — 56, 75, 83) и многие другие.

Методика библиографической классификации требует, чтобы работы по теории литературы, написанные на материале конкретных литератур (или творчества отдельных писателей), помещались в соответствующие разделы. Тем более, что в названных выше статьях не рассматриваются теоретические проблемы прозы, поэзии, драматургии.

В раздел «Теория литературы» относят труды, в которых разные произведения разных писателей привлекаются для подтверждения того или иного теоретического положения исследователя. Нельзя также не принимать во внимание неизбежность некоторой условности при систематизации материала.

К «Вопросам художественного перевода» отнесены преимущественно статьи обзорного характера о переводах грузинской литературы на русский и иностранные языки и о переводах произведений русских и зарубежных писателей на грузинский язык: «Из истории перевода «Давитиани», «Переводы грузинской советской поэзии на польский язык», «Художественные переводы английской литературы на грузинском языке», «Пусть Маяковский зазвучит по-грузински!» (81 г. — 120, 127, 126, 129) и другие.

Поскольку в этих статьях не ставятся теоретические проблемы переводческого искусства, их включение в этот отдел неправомерно.

Подобного рода статьи в «Филологии-80» отнесены в разделы «Взаимосвязи и взаимодействие литератур».

Конечно, в факте перевода произведения с одного языка на другой имеется момент литературного взаимопроникновения, но при библиографической систематизации материала правильнее такие работы направлять в соответствующие разделы национальных литератур, давая к ним номерные отсылки от рубрики «Взаимосвязи и взаимодействие литератур».

Нет четких критериев «отправки» книги или статьи в этот раздел. Так, воспоминания о К. Симонове Ир. Абашидзе отражены в «Литературных взаимосвязях грузинской и русской литератур», а «Встречи с Есениным» А. Арошидзе — в «Русской литературе» (81 г. — 280, 268). Примеры непоследовательного отбора материала для рубрики о взаимосвязях литератур можно было бы продолжить (см. 80 г. — 443, 81 г. — 286).

В раздел «Взаимосвязи и взаимодействие литератур» вернее будет включать статьи общего характера: «Русско-грузинские литературные взаимосвязи в детском журнале «Накадули», «Чехословацко-грузинские литературные взаимосвязи», «Грузинско-венгерские литературные взаимосвязи», «Страницы абхазско-русских литературных взаимоотношений» (81 г. — 305, 320, 323, 296) и делать к ним отсылки от национальных литератур.

Работы же типа «Гауптман и новая грузинская драма», «Байрон и грузинские романтики» (81 г. — 318, 319) помещать в соответствующие отделы литератур (Германии, Англии), с отсылкой к ним от «грузинской литературы» и «взаимосвязей».

То же самое можно предложить в отношении таких трудов, как «Важа Пшавела и русская действительность», «Из каких источников черпал А. С. Пушкин сведения о Грузии?», «Кавказский дневник Александра Николаевича Островского» (80 г. — 105; 81 г. — 303, 306). К примеру, статья «Мирза Фатали Ахундов и Григор Орбелиани», зарегистрированная в рубрике «Азербайджанская литература» (80 г. — 443), должна иметь номерную отсылку от «Грузинской литературы XIX в.» и от «Взаимосвязей и взаимодействия национальных литератур».

Не избежали составители и досадных ляпсусов: статьи о повести Д. Чонкадзе «Сурамская крепость», о драматургии Александра Корнейчука, стихах Г. Табидзе об Эдгаре По (80 г. — 51, 421, 450а) относятся соответственно к социалистическому реализму, русской литературе и литературе США.

Очень много в указателях неясных библиографических описаний литературы, что отражается на их справочно-информационном уровне. Назовем некоторые из них: «Летописец героических свершений», «Возобновленный спор», «Неиспользованная или трагическая свобода», «Мир, открытый лирической интуицией», «Человек на берегу уходящего моря» (80 г. — 121, 127, 287, 292, 359), «Печаль истории», «Жил-был человек и любил людей», «Миф и логика», «Неувядаемые карамфилы», «К истории двух пугествий» (81 г. — 36, 69, 77, 209, 316).

При просмотре этих названий у читателя может возникнуть много вопросов, так как в них нет конкретики, кото-

рую обязаны были внести библиографы, снабдив их по мере необходимости поясняющими аннотациями.

Рассматриваемое библиографическое издание снабжено вспомогательным указателем имен, но он дает неполную информацию о «персоналиях» из-за отсутствия поясняющих аннотаций. В нем, понятно, не названы фамилии тех писателей, которые не упомянуты в заглавиях статей.

Нераскрытость темы статьи является порой причиной неверной ее классификации. Работа Ш. Чичуа о произведениях Н. Думбадзе «Закон вечности» и Г. Панджикидзе «Год активного солнца», опубликованная во втором номере «Мнатоби» под заглавием «Роман и современность» (81 г. — 100), помещена в разделе теории художественной прозы. Та же работа под заглавием «Глубина и масштабность образа», напечатанная в девятом номере «Литературной Грузии» (81 г. — 85), отправлена в общие вопросы литературной критики. А должны быть они под рубрикой, где собраны материалы о грузинской советской литературе.

Встречаются также неточные описания, произвольное применение круглых и квадратных скобок (см. 80 г. — 24, 169, 173; 81 г. — 53, 58, 211, 218). В описании статьи Б. Мчедлидзе «Наши детские писатели» пропущен Гиви Чичинадзе, указана только Маквала Мревлишвили.

Имеются значительные пропуски в учете материала. Аналитически не описаны литературно-критические статьи из журналов «Мнатоби» (1981, № 7), «Литературная Грузия» (1980, № 11, 12), альманаха «Критика» (1980, № 4). Нами замечены и пропуски отдельных статей: З. Стуруза «Карло Гольдони и «Прекрасная грузинка» («Мнатоби», 1980, № 5) Микола Бажана о Давиде Гурамишвили, статьи - интервью Ч. Амирэджиби о романе «Дата Туташиа» («Литературная Грузия», 1980, № 10, 1981, № 11). Не учтены некоторые книги, изданные на грузинском языке: Евг. Бартая «Природа в грузинской советской новелле», Ив. Ениколов «Л. Н. Толстой в Грузии», Д. Панджикидзе «Статьи» (1980 г.), Г. Джибладзе «Критические этюды, т. 6», Ш. Чичуа «Роман. Понятие романа и история жанра. Грузинский роман-эпопея» (1981 г.).

Раздел «Литературоведение» библиографического указателя «Филология», безусловно, окажет помощь всем тем, кто в своей работе связан с литературой. Отраслевая информация специалистов необходима, но она должна вестись квалифицированно. Рецензируемый «Ежегодник» — продолжающееся издание, и мы надеемся, что наши замечания и пожелания помогут составителям при подготовке последующих выпусков.

Алла ОТАРОВА



ДОЛГИЙ ПУТЬ К ПЕРЕВАЛУ

●

Диалог с комментарием
с якутским переводчиком
«Витязя в
Барсовой шкуре»

●

— ПЕРВЫЙ раз я прочитал поэму Шота Руставели в восемнадцать лет. Она меня восхитила! Вообразите — якутский юноша при свете жирника бормочет величавые мелодичные строфы о романтических героях далекой эпохи. Какой контраст с тем, что его окружает! Иной пейзаж, нравы, архитектура... Но какими бы необычными ни казались герои, они своим мужеством и бескорыстием напояли мне богатырей олонхо...¹

Я беседую с Семеном Титовичем Руфовым, известным якутским поэтом и переводчиком, в Якутске, в редакции журнала «Хотугу сулус». Сюда, на пятый этаж огромного здания, украшающего центральную площадь столицы, в открытую форточку, разрисованную морозными узорами, врывается шум машин и птичий гомон — это воробьи, которым нипочем жестокие якутские морозы.

На лице Руфова появляется светлая улыбка — он ступил в своих воспоминаниях на тропу детства...

Он рано начал трудовую жизнь: началась война, отец



ушел на фронт, и он, семиклассник, стал работать в колхозе, чтоб помогать семье. Он косил сено и рубил дрова, возил на поля удобрения и выращивал пшеницу и овес, а зимой уходил с рыбаками на озера, которых было много в тайге, и добывал подледным ловом карасей...

Но Семен Руфов мечтал стать поэтом. Еще в школе он писал стихи, и его друг Афанасий Федоров был первым критиком и слушателем — через несколько лет они оба станут писателями.

Детские стихи Руфова — о Вилую, стремительно несущем свон воды, о повадках птиц и зверей, о земляках-охотниках, промышлявших в тайге, о войне — были написаны искренне и естественно. Усталость как рукой снимало, когда он вечером возвращался домой, садился за свой столик и брал в руки томики Пушкина, Блока, Шекспира, Исаакяна, Руставели — Семен, хоть и учился в якутской школе, русский язык знал неплохо.

¹ Якутский эпос.

Появление этих ценных книг в глухой деревушке было не случайным: юноша рисовал ночами, выполняя заказы земляков, а заработанные деньги посылал для покупки книг Афанасию, который уже учился в городе.

В начале пятидесятых годов в республиканских газетах появились первые публикации Руфова, ставшего студентом Якутского культпросветучилища. Они сразу обратили на себя внимание читателей: в них ощущалась личность поэта — его душевная открытость и доброта, свое видение мира. Вначале он писал стихи по-русски, пока ему не открылась во всей глубине напевность и выразительность родного языка. Тогда он стал писать по-якутски, одновременно воспроизводя на русском стихи якутских поэтов.

Через несколько лет Семен Титович Руфов будет учиться в Литературном институте, расширит свой кругозор поэта, станет одним из крупнейших в республике мастеров поэтического слова. Он опубликует около десяти книг и множество переводов — таким будет внешний творческий итог поэта, когда он приступит к самой трудной своей работе: переводу поэмы Шота Руставели.

Прошло двадцать лет со дня первого знакомства с «Витязем в барсовой шкуре», но все эти годы тени героев витали в его сознании, и Руфов не переставал восхищаться умением Руставели живописать цветистую вязь восточных сказаний, воспроизводить и радость бытия, и драматическую напряженность, и колоритный юмор. Он знал наизусть много отрывков из поэмы и даже переводил некоторые из них,

но эти сейсмические толчки могли излиться горячей лавой строк — нужен был лишь внешний толчок. чтоб что-то стонулось в душе...

Таким поводом стал юбилей любимого поэта, широко отмечавшийся в Якутии в 1966 году. Накауне юбилея С. Т. Руфов завершил очередную работу: перевел на якутский язык все 154 сонета Шекспира. И было закономерным, что ему, крупнейшему поэту и переводчику, предложили перевести «Витязя в барсовой шкуре».

— И вот я погрузился в мир, ставший мне давно близким и родным... Но как переводить поэму? Свободным стихом, как олонхо? Это было бы легче, и, пожалуй, я смог бы перевести поэму в три-четыре года, как однажды необдуманно сказал читателям на конференции... Но я быстро отказался от этого замысла. Не имел я права обеднять руставелевский стих — я должен был, воссоздавая поэму по-якутски, сохранить ее глубину и своеобразие, пластику и мелодичность. Я писал и учился в поэтической мастерской Руставели...

В поэме переводчика восхищали многие сцены — письмо Автандила царю Ростевану, гнев Нестан и ее письмо Гариэлу, написанное из Каджетской крепости, — они исполнены особенного лирического и философского взлета. И он мучительно бился, чтоб и по-якутски эти строфы обрели объемность, излучали волшебный поэтический свет.

Якутские читатели были широко информированы о работе над переводом поэмы Шота Руставели. Отдельные главы «Витязя» появлялись в газетах «Кыым», «Эдэр коммунист», журнале «Хотугу сулус». Се-

мен Титович получал много писем, где ему высказывали благодарность за титаническую работу, отмечали, что перевод станет явлением в культурной жизни республики.

— Я тщательно изучил все переводы руставелевской поэмы на русский язык — Бальмонта, Нуцубидзе, Цагарели, Петренко, Заболоцкого, отрывки, переведенные Антокольским и Пастернаком. Конгинальным мне кажется перевод Николая Заболоцкого.. Но на якутский язык я переводил с подстрочника, который сделал грузинский ученый С. Иорданишвили.

С. Т. Руфов старался каждый день переводить по шестнадцать строк. Иногда приходилось садиться за рукопись в пять утра и работать до одиннадцати вечера. Он окунался в водопад звуков — то нежных, то гневных, то излучающих радость, то исполненных боли..

Но при всем восхищении Мастером нужно было найти в себе мужество и нравственные силы встать рядом с ним, чтоб овладеть темой, почувствовать дыхание великого Руставели, чтоб высечь поэтическим «чеканом» графически четкие афоризмы.

Руфов старался соотнести звуковую палитру грузинского стиха с якутским. Это было сложно. Но напевность силлабического якутского стиха достигается за счет обильного использования аллитераций и ассонансов, которыми широко пользовался Руставели. Руфов шлифовал строфы, строго следуя поэтике поэта, применяя, кроме того, консонансы, внутренние и омонимные рифмы. И старался учесть опыт перевода поэмы Константином

Бальмонтом, которого погоня за внешним эффектом нередко приводила к формалистическому изыску..

Год за годом овладевал якутский переводчик сложным инструментарием Руставели — и величаво звучали стихи гениального грузинского поэта по-якутски. Отдельные строфы нередко начинались с одинаковых парных звуков, делая эвфонию стиха более богатой. Поэма ему напоминала симфонию, где десятки тем борются, противостоят друг другу, развиваются, приобретая полифоническую стройность звучания, — и наконец заканчиваются патетическим финалом, мажорным аккордом торжествующего братства..

— В юности, когда я читал «Витязя», то исполнил десятки рисунков и акварельных набросков по мотивам поэмы. Я рисовал богатырей и их быстрых как ветер коней, старинное оружие и доспехи, красочные костюмы. С бревенчатых стен моего деревенского дома смотрели на меня лики любимых героев..

Несколько лет назад, когда поэма еще переводилась, Семен Титович приехал в Мирный, читал отрывки руставелевского шедевра, свои стихи по-русски и по-якутски. Там он познакомился с самодеятельным художником Алексеем Герасимовым, книжные знаки которого демонстрировались не только у нас в стране, но и за рубежом: в Болгарии и Чехословакии, Японии, Англии, Франции.. Они договорились, что мирнинский художник возьмется за оформление книги.

— Алексей Герасимов изобразил Руставели одухотворенным, со свитком в руке.

Фигура автора возвышается над поверженным зверем, к нему тянутся цветы, раскрываясь в лучах солнца. От этого рисунка словно начинается зачин поэмы. И этот эскиз, и узорная вязь на суперобложке, и красочные заставки с геометрическим орнаментом, венчающие главы, и даже «мажорный» цвет книги, словно камертон, дают настрой читателю и подготавливают его к встрече с героями поэмы...

Когда была переведена последняя, 1585-я строфа поэмы, Семен Титович размашисто написал на рукописи «Ура!» и вывел рядом с этим словом два знака—вопросительный и восклицательный. Он почувствовал удовлетворение и радость: руставелевские витязи заговорили на его родном якутском языке.

— Днем и ночью долгие годы поэма «сидела» во мне, не давала покоя. Она была похожа на ревнивую жену, и если мне нужно было заняться другой работой, я мог это делать только урывками. Я любил руставелевских героев, потому что много лет жил их жизнью: плакал и ликовал, бился с врагами и влюблялся — это был такой необъятный мир, целая Вселенная, и я чувствовал себя счастливым человеком... Свою работу над переводом считаю завершенной—в том смысле, что переделывать уже ничего не смогу. Нет сил... Это был такой длительный, шестнадцатилетний мучительный переход через перевал, что, чтобы проделать его вновь, нужно еще полжизни... Но больше такого счастья, которое я ощущал в годы работы над «Ви-

тязем в барсовой шкуре», мне уже не испытать...

Семен Титович встал, подошел к окну и вгляделся в силуэты зданий, взметнувшихся ввысь.

— В юности, — сказал он, — я считал себя неплохим поэтом...

Я не раз присутствовала на встречах Руфова с читателями и знала, что самоирония помогала ему разрушить барьер, мешающий свободному общению, и подумала, что ему тягостной стала роль интервьюируемого, но он вдруг произнес слова, которые пронзили меня искренностью:

— Это было так давно, в юности... Но теперь все стихи, которые я напишу, после гениальных руставелевских строк покажутся мне такими жалкими и ничтожными...

Ошеломленная этой фразой, я ничего не смогла ответить и, оставив его наедине с печалью, вышла. И потом, пока я шла в гостиницу, среди суеты и шума меня пронзила догадка. Нравственный и творческий подвиг, совершенный якутским поэтом и переводчиком Семеном Руфовым, его шестнадцатилетний титанический труд изменил не просто отношение к собственному творчеству, не просто заставил строже и ответственней относиться к нему. Душа его, соприкоснувшись с душой великого творца, не могла не проникнуться его величием. И я подумала, что лучшие свои стихи Семен Титович напишет именно сейчас — во время такого душевного просветления.

Мэри СОФИАНИДИ



О МНОГОМ может поведать воинская релликивия. Пересматривая фронтовые фотографии, перечитывая проникновенные строки треугольных писем, знакомимся мы с волнующими событиями военной поры, вникаем в слова, выраженные ими мысли. В них многое недосказано — порой из-за спешки, а чаще из-за нежелания тревожить близких. Но между строк зримо встают подвиги людей, сплоченных воедино чувством товарищества, пролитой на поле боя кровью, крепкой фронтовой дружбой. Вчитываешься в эти письма, и будто вновь отмеряешь походные версты войны в строю мужественных, суровых однополчан.

Какими они были, герои тех лет, о чем думали в ночь перед атакой, в редкие минуты затишья на переднем крае? Бесценно духовное наследие людей, прошагавших через две войны — одну на Западе, другую на Востоке. Их фронтовые фотографии, сделанные во время боя, или треугольники писем имеют для нас огромную пропагандистскую и познавательную силу. Собранные по крупицам, в строгой хронологической последовательности,

Петре ШАМАТАВА

ЧЕСТЬ СОЛДАТА

эти реликвии стали волнующей боевой летописью, в которой представлены военные судьбы людей. Они помогают воспроизвести собирательный образ советского человека, ставшего по необходимости воином, защитником Родины—с его мироощущением, нравственной высотой. Невольно думаешь о том, как неприметна, ненавязчива в наших людях эта безоглядность в любви к Отчизне. А пробьет грозный час, и все лучшее в них, схоронившееся дотоле под спудом обыденности, заявит вдруг о себе ярко и талантливо. Ведь талант защищать Родину — самый важный из тех, что дарованы человеку.

У меня сегодня конкретный повод для этих раздумий. Дала его мне военная судьба одного из наших земляков, человека скромного, но истинного героя. Судьба необычная, но во многом типичная.

Все шесть фотографий, присланных с фронта солдатом Шахро Ониашвили, и поныне хранятся в его семье. На обратной стороне каждой из них — небольшой сопроводительный текст: где, когда и с кем сфотографирован солдат.

«На память любимым жене Тамаре и сыну Заверу. Снят на передовой в Германии. Силезия. 25 марта 1945 года. На фотографии посредине — мой начальник, полковник Евдоким Мальцев, а третий — сопровождающий нас солдат Иванов».

А вот еще снимок.

«На память моим любимым жене и сыну — Тамаре и Заверу — от Шахро и его фронтовых, боевых товарищей: полковника Мальцева, старшины Громова, Михайлова. Сфотографирован в Германии на подступах к Берлину 25 апреля 1945 года».

Следующие две фотографии датированы маем.

«На память любимым жене и сыну — Тамаре и Заверу. Германия, 1 мая 1945 года. Работаю на этой машине. Запомните ее номер... Целую крепко, до скорой встречи. Подходим к Берлину».

А на этой надпись сделана незнакомой рукой:

«На память Шахро. Никогда не забывай дни Великой Отечественной, нашу великую Победу над фашистской Германией, нашу службу. С наилучшими пожеланиями полковник Мальцев. 5 мая 1945 года. Чехословакия».

И еще снимок: на ней солдат - победитель, бывалый воин Шахро Ониашвили, грудь которого украшает множество боевых наград. Снимок сделан на Дальнем Востоке в сентябре 1945 года.

Фронтвые фотографии повествуют о том, как шаг за шагом шел к желанной победе солдат из небольшого грузинского селения. Они — живые источники познания характера человека на войне.

Вот еще одна фронтвая любительская фотография, сделанная на передовой. На ней запечатлен политработник армии Е. Мальцев. Слева от него — солдат Шакро Ониашвили, всегда неотлучно сопровождавший своего военачальника и старшего друга.

Член Военного совета 21-й армии Е. Мальцев был видным организатором и участником крупных операций Великой Отечественной войны. Он находился не только в штабе, но и на командном пункте, рядом с командующим армией, генерал-полковником Д. Гусевым, где решалась судьба сражения, на передовой, в частях и соединениях. Зная нужды воинов, их настроение, он прекрасно умел направить порыв личного состава на успешное проведение боевых операций.

Солдат Шакро Ониашвили — дни и ночи со своим начальником, в атаке и обороне. Он участник многих памятных событий. Смелый, наблюдательный воин, отличный стрелок, он без промаха разил цели. Недаром так высоко ценили его солдатский труд командиры и сослуживцы. Шакро один из первых читал свежие номера красноармейской газеты. Знакомился с событиями, которые сам пережил накануне, с описанием подвигов, свидетелем которых был. Он лично знал многих политработников, которые идейно вооружали бойцов, укрепляли в них высокое чувство советского патриотизма, убеждали их в своих силах и возможностях, звали на свершение героических дел.

Солдат Шакро Ониашвили вместе с командиром участвует в освобождении Чехословакии, заканчивает войну там, откуда ее начал враг. Победителем проехав тысячи километров, Шакро приезжает в праздничную столицу нашей Родины, участвует в параде Победы. Здесь он и распрощался со своим любимым командиром и, демобилизовавшись, вернулся в родной дом, в Рачу, в красивое высокогорное село Абаэти.

Радостно встречали солдата односельчане. На праздничное застолье собрались родственники, друзья. Отец — Сардион провозгласил тост за вернувшегося с фронта сына. Помянули и тех, кто не дожид до светлого победного утра. На том обеде произошло нечто такое, чего не ожидал никто...

Эта необычная история вошла в документальную летопись Великой Отечественной войны и стала достоянием десятков тысяч благодарных читателей как пример редкого благородства и патриотизма наших земляков, отца и сына — Сардионя и Шахро Ониашвили.

В 1979 году Военное издательство в Москве в серии «Военные мемуары» выпустило в свет 100-тысячным тиражом книгу генерала армии Евдокима Мальцева — «Годы испытаний». Автор книги — видный политработник Советских Вооруженных Сил, активный участник Великой Отечественной войны, тот самый Евдоким Мальцев, о котором тепло, с большим почтением вспоминает Шахро в каждой весточке с фронта. Мы еще вернемся к эпизоду, который приводит Е. Мальцев в своей книге. А сейчас несколько подробнее о самом авторе.

Еще до войны Е. Мальцев был военным комиссаром дивизии, а с 1942 года до окончания войны — членом Военного совета последовательно в 12, 47, 56, 21 и 15 армиях. В Великой Отечественной войне прошел славный путь вместе с такими выдающимися военными и политическими деятелями, как Л. И. Брежнев, Р. Я. Малиновский, А. А. Гречко, Л. А. Говоров, А. А. Жданов, Ф. И. Толбухин, К. Н. Леселидзе и другие. Вместе с ними Е. Мальцев защищал нашу социалистическую Родину, ее свободу и независимость, участвовал в освобождении стран Восточной Европы от фашистского ига, в уничтожении миллионной японской армии. Жестокие оборонительные бои в начальный период войны, битва за Кавказ, Ленинградский фронт, наконец Чехословакия и Дальний Восток — этапы фронтового пути генерала Е. Мальцева. И повсюду его сопровождал солдат Ш. Ониашвили.

Генерал армии Е. Мальцев был начальником Военно-политической академии им. В. И. Ленина. Свой богатый опыт идеологического бойца он посвятил делу воспитания молодых политработников, высококвалифицированных кадров Советских Вооруженных Сил.

В книге генерала Е. Мальцева «Годы испытаний» — произведении военно-документальной прозы — подробно, интересно, в доступной форме рассказывается о заслугах выдающихся военных деятелей нашей армии, об их большом вкладе в великую победу советского народа. В книге особое место занимает рассказ о накопленном в военные годы зна-

чительном опыте партийно-политической и организаторской работы по идеологическому обеспечению личного состава в ходе боевых действий, целеустремленной деятельности на фронте армейских политработников, партийных и комсомольских организаций. Большое место в книге отводится воспоминаниям. Впечатляющие образы бойцов Советской Армии, наделенных высокими боевыми и моральными качествами, редкими человеческими характерами. В книге названы имена многих достойных защитников Родины, кто хоть однажды за долгие годы войны попал в поле зрения автора. Среди них с большой любовью и теплотой вспоминает он образцового бойца Шакро Онишвили.

Прославленный генерал вспоминает в своей книге и о шумном застолье в честь возвращения солдата домой с фронта, и о том, что произошло дальше.

«Не могу не рассказать об одном трогательном эпизоде. Как-то во второй половине дня 25 июля офицер политотдела сообщил мне, что меня разыскивает какой-то красноармеец, грузин по национальности. Я распорядился привести его ко мне. Вскоре в комнату вошел худющий, утомленный на вид боец в бушлате, в шапке-ушанке, хотя было лето, и с вещмешком за плечами.

— Шакро, какими судьбами?! — вырвалось у меня, когда я узнал неожиданного визитера.

— Товарищ генерал! Рядовой Онишвили прибыл в ваше распоряжение! — отрапортовал красноармеец.

Да, это был Шакро, мой бессменный шофер, начиная с боев за Кавказ, это он довез меня до Москвы из Германии на потрепанном «Опеле». В столице я оформил ему демобилизацию, мы тепло распрощались, и Шакро отправился домой.

— Откуда ты теперь? — спросил я.

— Из Грузии, товарищ генерал!

— Но ты же демобилизован... Как твои дела?

— А... плохо было, товарищ начальник. Совсем плохо. Теперь вот, когда вас нашел, надеюсь, будет лучше...

— Ну, рассказывай, что за беда у тебя...

Оказывается, Шакро благополучно прибыл домой, где его ждали отец, мать, жена, двое детей и, разумеется, многочисленные родственники. Встреча Шакро была организована широко и щедро, с традиционным грузинским размахом. Собрались почти все жители грузинского селения.

Мать, отец и жена не могли нарадоваться. Они с гордостью смотрели на Шакро, на гостей: шутка ли сказать — он возил на фронте генерала, медаль «За отвагу» заслужил...

— А скажи, Шакро, гостям, — обратился к нему отец, — какого начальника ты возил и где он теперь? Наверное, в Москве сидит в большом штабе? И скажи, почему ты не пригласил его в наше горное селение? Может, ты подумал, что у нас и угостить уже большого начальника нечем?

— О, мой начальник теперь далеко, — ответил Шакро, — он на другую войну уехал.

— Как на другую войну? — сверкнув глазами, сказал старый Ониашвили. — Значит, кто-то еще воюет, а ты сидишь за столом, пьешь вино и ешь душистую баранину? Разве так настоящие мужчины поступают? Сейчас же собирай вещмешок и отправляйся на войну. Пусть твой начальник не подумает, что сын Грузии может оставить человека в беде.

— Но, отец, у меня есть документы об увольнении из армии, — робко оправдывался Шакро. — Их мне сам генерал вручил. Вот смотри...

— О люди! Мой сын думает, что бумажкой можно спасти мужскую честь. Шакро, сын мой! Если не хочешь, чтобы твой старый отец умер обесчещенным, сейчас же отправляйся на войну с японцами, найди своего начальника и войди вместе с ним, пока не прогремит последний выстрел...

И Шакро тут же, покинув застолье, ушел из дому. Только одному ему известными путями он разыскал меня и действительно верой и правдой служил до конца войны. Говоря откровенно, меня до глубины души взволновала эта история, такое прекрасное и возвышенное понимание людьми своего долга перед Родиной, боевого товарищества, мужской солдатской чести».

Так заканчивает свои воспоминания генерал армии Евдоким Мальцев...

Четыре боевые награды привез Шакро Ониашвили: с Запада — солдатскую медаль «За отвагу» и «За победу над фашистской Германией», а с Востока — орден «Красной звезды» и медаль «За победу над Японией». Но главной наградой было то, что солдат вернулся с победой, здоровым и невредимым, и привез с собой память сердца, нестареющую любовь к боевому товарищу и великое чувство дружбы, которое пронес через всю дальнейшую жизнь.



БОЛЕЕ четверти века меня связывало с Николаем Ивановичем Мухелишвили тесное деловое общение. Из них на протяжении шестнадцати лет (1955—1971 гг.) мне довелось встречаться с ним почти ежедневно, поскольку в эти годы я был академиком-секретарем Академии наук Грузии. Что только не довелось нам пережить за эти годы! Сколько радостных и мучительно сложных событий и ситуаций нам с ним пришлось разделить! В процессе наших постоянных контактов я время от времени обращался к нему с вопросами и его ответы записывал по ходу беседы в его присутствии.

Первый президент нашей академии был личностью яркой и выдающейся, и о нем будут написаны специальные монографии. Я же своими неприятными воспоминаниями хочу лишь отдать дань его светлой памяти.

-
- ДОКУМЕНТЫ.
 - ПИСЬМА.
 - ВОСПОМИНАНИЯ
-

Сергей ДУРМИШИДЗЕ

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ МУХЕЛИШВИЛИ

●
К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ
●

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

— Уважаемый Николай Иванович, помните, как-то очень давно я спросил Вас: когда Вы испытали самую большую радость в своей жизни? Я записал тогда Ваш ответ и, если хотите, прочту его Вам. С тех пор прошло десять лет. Может быть, Вы еще раз ответите мне на этот же вопрос сейчас?

— Читать не нужно. Я сейчас отвечу Вам, как и прежде: самую большую радость я испытал, когда в Петрограде после окончания университета товарищи известили меня, что я остав-

лен там же для продолжения работы. Это было для меня совершенно неожиданно, и я воспринял это тогда как величайшее счастье, да и сейчас так считаю. Все, что происходило со мной после того, было уже не столь неожиданным.

* * *

— Чье влияние оказалось наиболее сильным на протяжении Вашей большой научной и общественной жизни?

— Математикой я увлекся под влиянием отца. Он сумел с детства привить мне любовь к этой науке, хотя он никогда прямо не давал мне совета, чем мне конкретно в жизни заняться.

* * *

— Вы часто вспоминаете нашего большого ученого Ивануа Джавахишвили. Расскажите подробнее о Ваших взаимоотношениях.

— В Тбилисский государственный университет меня пригласил именно Иван Александрович. Это высокое доверие, ко многому меня обязывающее, я не забуду никогда. Не меньшее значение я придаю и его категорическому требованию как можно скорее и основательно изучить грузинский язык. Ведь я получил среднее и высшее образование не на грузинском языке. Иван Александрович спокойно и твердо заявил мне: «Сейчас же приступайте к разработке грузинской математической терминологии. Этот вопрос мы больше обсуждать не будем».

Теперь я прекрасно понимаю, какую огромную услугу он мне тогда оказал! Если бы не Иван Александрович, я бы не сумел познать всю силу и прелесть родного языка.

* * *

— Тексты Ваших выступлений на грузинском языке Вы всегда переписываете собственной рукой крупными, красивыми буквами. Зачем Вы это делаете?

— Читая рукопись, я чувствую родной язык куда лучше, чем когда перед глазами у меня напечатанный на машинке текст: Правда, в этих случаях я пишу более крупными буквами, чем обычно, но это успокаивает меня, освобождает от страха, что при чтении я могу перепутать какое-либо слово. Я так привык к этому, что сам процесс переписывания доставляет мне большое удовольствие. Я будто восполняю этим пробел поры моего детства.

* * *

— Что Вы считаете основной особенностью Вашей научной работы?

— Самостоятельную работу без соавторства, долгую работу мысли в одном направлении и мучительные сомнения по поводу моих соображений и полученных результатов. Я работник чересчур «замедленного действия». Обычно я пишу не более одной страницы в день.

* * *

— Часто Вы и наш уважаемый Иван Соломонович Бериташвили без устали часами беседуете друг с другом. Если, конечно, это не секрет, что служит главной темой ваших бесед?

— Мы с ним старые друзья. Мы всегда относились и относимся друг к другу с большим уважением, высоко ценим научные достижения друг друга. Мы рассуждаем чаще всего о том, чей путь в науку был более правильным: я большую часть своего времени отдал организации науки, Иван Соломонович же больше занимался непосредственными научными исследованиями. Интересно, каких результатов мы достигли бы, если бы с самого же начала поменялись местами. У нас обоих чувство какой-то неудовлетворенности, хотелось бы сделать больше, чем мы сделали. Вас, возможно, и удивляет, что мы сейчас рассуждаем об этом, но иногда и пожилые люди преисполнены юношеских желаний.

* * *

— В научных кругах часто обсуждают вопрос о том, как отбирать молодежь для науки. Каково Ваше мнение по этому поводу?

— Распознать и отобрать среди молодежи будущего ученого очень трудно. Я не верю в так называемые школы одаренных. С молодыми надо систематически налаживать непосредственные контакты, надо стараться познакомиться со способными молодыми людьми в разных ситуациях. Потому я отдаю предпочтение подбору талантливой молодежи кафедрами в период обучения в университете и впоследствии оставлению на кафедре для дальнейшего воспитания. Я не считаю правильным и то, что всем и во всех областях науки мы даем одинаковый срок для научной подготовки.

* * *

— За три года (1956—1958) мы основали семь институтов. Между тем раньше Вы несколько скептически относились к отпочкованию от основных новых институтов. Что же произошло сейчас, не поторопились ли мы с таким решением вопроса?

— Не думаю! Мы не создали ни одного института без основного научного ядра. Каждый из них имеет также научную преды-

сторию. Конечно, не у всех одинаковый научный уровень, да это и невозможно! И руководители этих новых институтов ничуть не похожи друг на друга. Сейчас еще трудно сказать, какой институт в какой степени оправдает себя, но без такого риска нельзя идти вперед. Новые направления в науке всегда должны видеть перед собой простор. Превращение академии в мир лишь нескольких сложившихся отраслей науки мне не представляется правильным. Кто знает, в какой отрасли завтра блеснет талант, свершится открытие! Если академия ограничит себя только задачами сегодняшнего дня, она не сможет существовать...

* * *

— Вчера я вернулся из Сачхере. У меня была встреча с избирателями в Корбоульском избирательном округе. Там я был поражен одним обстоятельством, о котором и хочу рассказать Вам. После встречи с избирателями меня пригласили в дом, где собрались руководители села. Встреча была очень интересной. О чем только мы не беседовали, какие только вопросы не обсудили... Мы уже собрались уходить, когда глубокий старик, столетний дед хозяина, попросил слова и произнес тост за Академию наук Грузии и ее президента Нико Мухелишвили. Разумеется, все единодушно, с большим удовольствием откликнулись. А теперь, — попросил старик, — загляните в мою комнату.

Знаете, Николай Иванович, комната была полна Ваших снимков. Все, что за 24 года с момента основания академии было напечатано в газетах и журналах, он вырезал и в белых бумажных рамках вешал на стену!

— Мне уже приходилось слышать нечто похожее. Я бесконечно удивлен! У меня нет таких заслуг, которые могли бы вызвать такое уважение и популярность в народе. Как видно, наш грузинский народ не мыслит, что всенародное дело возглавляет не народный герой. Наверное, и обо мне думают так же. Это очень осложняет мне жизнь. Илик Векуа тоже часто напоминает, что я обязан рассматривать свою деятельность именно с этих позиций! Если бы Ваш корбоульский хозяин ближе познакомился со мной, у него наверняка изменилось бы представление обо мне.

* * *

— Иногда, входя в Вашу рабочую комнату, я наблюдаю, как Вы держите в руке телефонную трубку, осторожно ее вращая, и внимательно следите за шнуром. Если в нем какая-либо неисправность, то нужно вызвать мастера...

— Тут все несколько сложнее. Я, как мне кажется, снимаю трубку всегда одинаково, стараясь не закрутить шнур. Через несколько дней я замечаю, что он все равно перекручен, и сейчас же

вращаю трубку в противоположном направлении. Процессы вращения меня интересуют с точки зрения моих теоретических размышлений в области теории упругости. Закручивание телефонного шнура есть проявление пластичности материалов. Никакой мастер мне здесь не поможет. Только я сам смогу «раскрутить» мою илею.

* * *

— Не так уж редко родители стремятся подчинить творческие интересы детей своим и таким образом определить их будущее. В этой связи в академии иногда удивляются, что Ваш сын не математик.

— Каждый человек сам должен найти направление в своей научной деятельности. Я никогда не заставлял Гурама заниматься математикой. По своим склонностям и интересам он ближе к своему дяде — Георгию Николадзе. Думаю, никто из нас не ошибся

* * *

— Почему сегодня Вы так рассердились на нас, Вы не правы. Академия наук Грузии должна иметь новое здание Института математики. Пятилетний план строительства составляется сейчас, и если мы не внесем в него строительство института, кто знает, как все сложится в дальнейшем!

— Разве я против строительства Института математики? Но я считаю неудобным, чтобы президент строил институт своей отрасли тогда, когда институт истории, археологии и этнографии, институты языкознания и истории грузинской литературы не знают, где разместить своих сотрудников! Я благодарен всем, благодарен и Илье Векуа, и Рафаэлу Двали, что они столько думают о здании Института математики, но позвольте мне до конца остаться на своей позиции..

* * *

— Недавно отметили десятилетие Института физики. По Вашему поручению я и ученый секретарь президиума Давид Пурцеладзе присутствовали на торжественном заседании. Директор значительную часть своего доклада посвятил взаимоотношениям института с президиумом академии. Главный его тезис был тот, что дирекция института все делает сама и если бы институт опирался только на академию, то у него сейчас, вероятно, ничего бы не было. Остальная часть доклада касалась научных достижений и была блестящей.

Сергей Дурмишидзе. Николай Иванович Мухелишвили.

— Первая часть доклада была замечательной, директора всех институтов должны поступать так. Президиум академии не должен выступать в роли няньки. Президиум оказал директору доверие, поручил ему руководство институтом. Разве этого мало?! Основной движущей, организующей силой в институте должен быть директор.

* * *

— Что, по Вашему мнению, обуславливает авторитет науки, широкое признание ученого?

— Сложный вопрос, но я все же попытаюсь поделиться с Вами моими соображениями. Как правило, широкое признание ученого и его научных заслуг совпадают. И все-таки в основе популярности имени того или иного ученого лежит его общественная деятельность, его отношение к интересам и нуждам народа, взаимоотношения с людьми. Существует также целый ряд сопутствующих факторов, способствующих популярности и славе ученого, но они только «сопутствующие» и говорить об этом, наверное, не стоит...

* * *

— Вы прошли славный жизненный путь, но что все-таки вызывает в Вас какую-то неудовлетворенность?

— Говорить о славном, как Вы считаете, пути я затрудняюсь, но то, что я обязан был сделать значительно больше, — это мне совершенно ясно. Особенно я сожалею о том, что мало написал. Я мог бы написать еще несколько монографий.

* * *

— Вспоминается, как американские ученые привезли изданные у них две Ваши монографии и попросили у Вас автограф. Вы тогда еще пошутили: «Обе книги, наверное, весят килограммов десять, за что вы себя так наказали?». Ваши монографии переведены на многие языки, а Вы все высказываете неудовольствие?

— Я не согласен с постановкой вопроса. По-моему, главное, чтобы человек полностью реализовал в деле свои возможности. Но насколько полно я использовал мои знания, опыт, умение излагать и формулировать свои мысли? Вот в чем я сомневаюсь!

* * *

— В прошлом году в Вашем кабинете мы сфотографировались вместе с Галактионом Табидзе. Когда фотограф нас «поправляет», Вы шутливо сказали: «Снимаясь сейчас с Галактионом, мы разделили с ним его бессмертие».

Галактион с привычной усмешкой обратился к нам: «Вы ведь подтвердите, что президент никогда не ошибается!». Ни-

колай Иванович, что Вы думаете о роли и оценке поэта и ученого? Ведь в составе академии сейчас есть и поэты!

— Поэта и ученого я сравнил бы только по одному показателю: оба они — творят. Поэтому я думаю, что и ученый, и поэт наделяют человека духовной пищей. Что касается славы, то она даже несопоставима. Народ может поклоняться автору трех или четырех блистательных стихотворений и вовсе ничего не знать об авторе десятка великолепных научных трудов. Я думаю — это закономерно. Поэзия проникает в души миллионов, наука же распространяется в «узком научном кругу». Так что в будущем, возможно, нам с вами только и доведется гордиться тем, что мы — на одном снимке с Галактионом...

* * *

— Николай Иванович, у Вас сегодня такое приподнятое настроение, Вы все время улыбаетесь, шутите.

— Я и моя внучка Гулка большие друзья. Я счастлив, когда она находит время, чтобы поиграть со мной. Я же стараюсь почаще читать ей книжки. Вряд ли у меня есть дело серьезнее этого. Однажды она заявила, что ей ужасно нравится бабушкина шуба. В ответ моя супруга, приласкав девочку, пообещала, что после ее смерти шуба останется ей. Теперь маленькая Гулка каждое утро спрашивает нас: «Бабушка еще не умерла, что она никак не умирает?».

До Вашего прихода тут был один математик и намеками пытался выведать у меня, когда я оставлю пост директора Института математики! Что делать, иногда и взрослые не могут сдержаться себя...

9 ОКТЯБРЯ 1971 ГОДА

9 октября 1971 года Николай Иванович пригласил меня к себе на квартиру. В восемь часов вечера я пришел к нему. Он принял меня в спальне, так как был нездоров. И хотя он лежал спокойно, побледневшее лицо его выдавало волнение. Беседа перемежалась шутками, но они показались мне немного натянутыми, а не привычным всплеском его остроумия.

— Серго, моя супруга советует мне оставить президентское кресло, пока возраст еще не помутит мой разум. Я хочу, чтобы ты без обиняков сказал мне, как относятся окружающие —

Сергей Дурмишидзе. Николай Иванович Мухелишвили.

друзья, коллеги к моей нынешней работе на посту президента, и что ты сам думаешь по этому поводу?

Я знал точку зрения руководителей республики, президиума, других членов нашей академии и изложил чете Мухелишвили, какие мнения существуют по вопросу очередного избрания Николая Ивановича президентом Академии наук Грузии. Никто не помышляет ни о каких переменах, и он будет избираться столько, сколько сам сочтет нужным.

Я понял, что ему было приятно это слышать, что на другую информацию он и не рассчитывал. Но тут же попросил супругу высказать мне свои соображения по этому поводу.

Рузана Фаддеевна сказала мне:

— Как-то, давно это было, мы вместе попали на одно собрание в Москве, где присутствовал тогдашний президент Академии наук СССР Владимир Леонтьевич Комаров. Недавно перенесенный паралич очень надломил его, изменил внешне. Присутствовавшие только о том и говорили, осуждая его близких: зачем, когда человек в таком состоянии, мучить его?! В тот вечер Нико взял с меня слово: если он будет жить долго и ему трудно будет самому оставить должность, то я должна буду помочь ему решить этот вопрос.

Я убеждена, что настало уже для него время оставить пост президента, и выполняю свое обещание и свой долг. Вас же, его друзей и коллег, я прошу взглянуть правде в глаза и не помешать Нико совершить этот мужественный поступок. Ему скоро 81 год, до ваших будущих выборов почти полгода. За это время вы успеете проделать все организационные дела. Я бы и вовсе не вмешивалась в это дело, но к нам часто приходят его друзья и настойчиво советуют, чтобы он баллотировался вновь.

Николай Иванович, слушая ее, явно был опечален. Наконец он сам вмешался в разговор:

— Рузана, надо ведь подумать и о том, кто меня сменит. Ведь прежде всего я несу за это ответственность. Ты настаиваешь, чтобы я сейчас оставил свой пост в академии. А разве не целесообразнее, чтобы выборы состоялись, а за один-два года мы подготовили бы кандидатуру, и я сам поздравлю его до того, как истечет мой новый срок.

Но супруга Николая Ивановича продолжала настаивать на своем:

— Самым разумным было уйти из академии после юбилея, тебя бы проводили с почетом. А будущий президент, не беспокоясь, появится и будет избран и без твоего участия.

По лицу Николая Ивановича пробежала тень, выдавшая его неудовольствие от сказанного женой, но он промолчал.

Раздался звонок, и Рузана вышла из комнаты.

— Серги, сейчас мы одни. Мнение Рузаны ты знал и раньше, и сын мой Гурам советует уже отказаться от президентства. Честно скажи, как к этому относишься ты?

— Николай Иванович, мне трудно, очень трудно. Мы шестнадцать лет почти ежедневно были вместе, сколько совместных переживаний, общих забот и волнений. Как же мне вот так вдруг поступиться всем этим?!

Он что-то хотел ответить мне, но в это время хозяйка внесла на подносе фрукты и вино. Хозяин обрадовался:

— Вот любимое наше «циннандали». По предписанному Рузаной режиму я имею право выкурить пять папирс в день и выпить за обедом два стака вина. Воспользуемся ее «предписанием». Мне думается, твоя Нана — не меньший «тиран», чем Рузана! Рузана, дорогая, ты наверно замечаешь во мне что-то необычное, а то вряд ли так легко поступилась бы моим жалованьем?

Рузана Фаддеевна от души рассмеялась и обняла его.

— Вот сейчас ты прежний Нико, таким я тебя люблю и хочу, чтобы ты всегда оставался таким...

На другой день Николай Иванович уведомил меня по телефону:

— Решено, я оставляю академию...

Я растерялся. Но он сам выручил меня:

— Серго, загляни ко мне сегодня вечером, побеседуем теперь уже о новых проблемах и, что самое главное, — когда ты придешь, Рузана не будет так строга в ограничении винного пайка. Словом, я жду тебя...

Перевод Р. ЗЛАТКИНА



Тина ДОНЖАШВИЛИ

ТАК РОЖДАЕТСЯ ПЕСНЯ

В ДЕРЕВНЕ на берегу Иори жила длинноногая, веснушчатая девушка, смуглая и черноволосая. Всюду она попевала и до всего ей было дело: выходили крестьяне в поле — она вместе с ними, погоняли стадо — и она тут как тут, перекинет через плечо хворостинку и шагает за стадом. Завидит у кого-нибудь в руках книгу — выпросит, уткнется в нее и не поднимет головы, пока не прочитает от корки до корки. Едва зацветала лоза, она появлялась в винограднике, ни на шаг не отставала от деда, который, тихо напевая, бережно готовил лозу к встрече с новой весной. Она была рядом с крестьянами, когда те молча стояли над побитыми градом посевами. А когда в чьем-либо доме стоял плач по погибшему на войне — она, съезжившись, сидела у калячки.

Целыми днями без усталости бегала она босиком по селу, а в сумерках находила свои тапочки, заброшенные под забором, мыла в речке исцарапанные пыльные ноги и, боясь гнева матери, тихо, котенком, прокрадывалась в дом и тотчас принималась за домашнюю работу. Никто не сердился на нее. Неужто чувствовали,

что ее влекут поиски необычного, еще не осознанного собственного мира? Нет, конечно. Кому тогда такое могло прийти в голову? Да и сама девочка не понимала, что босыми ногами она впитывает в себя неиссякаемое тепло земли, а шелест нивы, шепот ручейков, запах цветущей мяты, храм Ниноцминда, виднеющийся сквозь цветущие ветви миндаля и граната на фоне голубого неба, — все это как в копилке откладывалось в ее душе, что из многочисленных звуков, которыми насыщен мир, в ней рождалась песнь, завладевшая ею, звавшая в неведомое.

Кто мог знать все это? Просто все — и ее ровесники, и люди, умудренные жизнью, — видели, что девочка в работе не знает усталости, полна доброты, а слово «мое» ей неведомо.

Одноклассники помнят, как она любила помогать отстающим, как надевала старое платье только потому, что подружка не имела к празднику нового. Улучив момент, когда в классе не было нуждающегося ученика, она обращалась к своим товарищам: «Сложимся, кто сколько сможет». А сколько раз приходила она домой с друзьями и тихо говорила матери всего два слова: «голодные они». И в доме Медико все поровну делилось между детьми.

Шаловливая, неугомонная, бессменный атаман в далеких походах по изучению родного края, она и во время каникул, не отставая от родителей, работала в полях и на виноградниках, увлекая за собой и сверстников.

Преподавателя истории поражали ее глубокий интерес к предмету, серьезное знание прошлого родного народа, учительница же грузинского языка и литературы не переставала удивляться тому, как она успевает столько читать, от кого унаследовала столь тонкое восприятие поэзии. Причем Медико могла часами читать стихи — и фольклор, и классиков, и современных поэтов. Опыт старого педагога подсказывал, что дело тут не только в хорошей памяти, поэзия жила в самой девочке, и что «рейды» по родному краю — та же тяга к познанию настоящего и прошлого своего народа.

Последние три года в школе Медико была секретарем комсомольской организации. И что любопытно: задумает Медико какое-нибудь дело, загорится сама, заразит других, а потом незаметно отходит в сторону, никогда не оспаривает первенства.

Окончив школу, Медико поступила на исторический факультет Телавского педагогического института.

Осталось позади детство... Медико стала степеннее, молчаливее. В застенчивой девушке трудно было признать неугомонного «атамана». Однако эта сдержанная, робкая девушка после первого же семестра стала именно стипендиаткой. Это можно было понять и объяснить — и ее любовью к избранной профессии, и прилежностью, и чувством ответственности, но ни один из ее однокурсников не смог бы тогда объяснить, какая сила заставила их единодушно остановить свой выбор на вроде ничем не выделяющейся студентке, скромно примостившейся на последней скамье в аудитории, и проголосовать за нее сначала как за секретаря комсомольской организации курса, затем факультета и наконец — комсомольской организации института. Однокурсники Медеи Мезришвили сегодня говорят, что, вероятно, они уже тогда оценили самобытность ее характера, умение говорить правду в лицо. Вероятно, они почувствовали также и безмерную ее доброту, она готова была поделиться последней копеечкой из своей стипендии. Но самое главное — она не была «высочкой», не знала зависти, ни с кем не соперничала и, как в школьные годы, легко и радостно уступала славу другому.

С отличием закончен институт. Медико намеревалась вернуться в Сагареджо, в школу, в которой она училась. Теперь она сама будет прививать детям любовь к истории своего народа.

Но судьба распорядилась иначе — Медею избрали первым секретарем Телавского райкома комсомола.

Вот где мог в полную силу развернуться талант «атамана». По рекомендации Медеи вторым секретарем стала ее сокурсница Тамар Хуцишвили.

«Как, оба секретаря — женщины?» — удивлялись в Телави и даже в Тбилиси. И в самом деле, смущала необычная ситуация, когда во главе райкома — женщины. Однако районное партийное руководство сочло такое положение целесообразным.

Результат не заставил себя ждать. Молодые руководители райкома комсомола смело вторгались во все сферы культурной и хозяйственной жизни района, смело поддерживали и вдохновенно осуществляли новые начинания. В народе их стали ласково называть «маленькими секретарями».

Главной своей задачей «маленькие секретари» считали борьбу с распространяющимся, словно эпидемия, бездельем. Основные мероприятия были направлены на воспитание в молодежи чувства гражданского долга, умения ощущать кра-

соту каждого дня, на заинтересованность в труде. С помощью партийного актива, руководителей района, трудящихся, порой строго взыскивая, порой прибегая к дружеской беседе и просьбе, они добивались своего — не знали покоя сами и не давали покоя тому, от кого зависело решение той или иной задачи. В деревнях открылись клубы, красные уголки, читальни, спортивные площадки, на каждом рабочем участке были созданы молодежные бригады, между которыми развернулось социалистическое соревнование. Стали частыми встречи с победившими в соревновании доярками, пастухами, животноводами, в праздничной обстановке вручались им ценные подарки. Молодые специалисты направлялись за опытом в разные районы республики. При педагогическом институте были созданы курсы, на которых читались общеобразовательные лекции, лучшие специалисты вели практические занятия.

«Маленьких секретарей» можно было встретить повсюду — в поле, на виноградниках, на фермах. Они были предельно требовательны, строго следили за исполнением взятых обязательств. Люди, равнодушные к делу, нарушающие дисциплину труда, становились объектами общественного осуждения. Естественным было и рождение сатирической газеты «Наше зеркало», ставшей вскоре мощным фактором воспитания молодежи. «Герои», попавшие в газету, были обрисованы так метко и ярко, что в Телави, чтобы прочитать газету, приезжали даже из далеких сел. Многие предпочитали получить административные взыскания, нежели попасть в эту газету. Люди, отлынивавшие прежде от работы, стали приходиться к «маленьким секретарям» с просьбой направить их на работу. И очень скоро в районе не стало празднующихся молодых людей. И, что интересно, все получали ту работу, которая была им по душе. Отсюда — и радость труда, и желание заслужить уважение тех, кто поверил в них.

Все это происходило не в столь отдаленное от нас время. Страницы районной, республиканской и центральной прессы тех лет знакомят нас с хроникой жизни комсомольской организации Телавского района. Грузинские и русские газеты широко освещали достижения района, отмечали организаторские способности «Медико и Тамрико», их умение внедрять новое путем преодоления сложностей и препятствий.

Тина Донжашвили. Так рождается песня.

«Комсомольская правда» от 7 июля 1961 года известила своих многомиллионных читателей о том, что в деревне Акура Телавского района комсомольская колхозная бригада первой в республике завоевала высокое звание бригады коммунистического труда.

Так и было. Опираясь на личный пример своих руководителей, рос и мужал в труде молодежный коллектив, морально-этические нормы его жизни становились непреложными нормами жизни большинства. Подлинный коллективизм стал потребностью людей. И неудивительно, что, когда готовились к первому в республике фестивалю молодежи, жители Телави все как один помогали своему коллективу самодеятельности. И в результате — первое место и диплом первой степени. Чем же еще, если не стремлением к новому, жаждой знания, можно объяснить тот факт, что открытый в Телави в 1959 году университет культуры (в области литературы и искусства) смог вместить лишь малую часть желающих.

Словно семь минут, промелькнуло семь лет. Медея и не заметила, как с лица исчезли смешные веснушки, как она стала взрослой. Походка степенная, голос — тихий, спокойный, характер — выдержанный, самобытный. Лишь улыбка осталась прежней, отражающей неизбывную доброту.

Медею назначают председателем Телавского райисполкома. Настоящий человек, каких бы высот он ни достиг, остается прежде всего гражданином. А тот, для кого эта должность — «быть гражданином» — остается высочайшим назначением, всегда подходит к своему делу творчески.

Десять лет проработала Медея на посту председателя Телавского райисполкома. И по сей день, приехав в Телави (Медея уже давно не работает здесь), вы услышите, как телавцы с любовью говорят: «Это работа нашей Медико» или «Это построила Медико». Конечно, они знают, что любое строительство определено общим государственным планом. Но почему-то некоторые руководители могли «ухлопать», как говорится, не один год на безуспешную переписку с партийными, хозяйственными, строительными и другими республиканскими или же местными организациями, а план так и оставался планом. У Медеи же никогда слово не расходилось с делом. Телавцы вспоминают те годы с гордостью, вероятно, и потому, что они были не просто свидетелями всего того, что строилось, но и непосредственными уча-

стниками строительства. А вот сухой перечень телавских новостроек за те десять лет, когда Медея Мезвришвили была председателем райисполкома.

Турбаза — выстроена на холме, словно для того, чтобы ее тотчас заметили.

Медгородок — многокорпусное сооружение, оснащенное современной медицинской техникой и инвентарем, укомплектованное таким квалифицированным персоналом, что здесь с успехом делают даже операции на сердце.

Филиал Тбилисского политехнического института — кузница специалистов технического профиля.

Стадион на 15000 мест. Здесь проводятся соревнования по всем видам спорта.

«Интурист» — четырнадцатизэтажная гостиница.

Жилые дома.

С не меньшей гордостью покажут вам в деревнях школы, детские сады, ясли, больницу, универмаг, фермы, клубы, библиотеки, дома культуры...

К 800-летию юбилею Ш. Руставели было принято решение реставрировать Икалтойскую академию. Но еще за год до постановления о реставрации Медико уже приступила к делу. И, конечно же, рядом с нею, как всегда, была молодежь. Медея буквально дневала и ночевала в Икалто. Она была и производителем работ, и бригадиром, и подсобным рабочим. Одним словом, душой всех начинаний и дел. Работали на реставрации безвозмездно. По собственной инициативе реставрировали и древний монастырь Шуамта. Летом 1966 года приехавшие со всех концов нашей страны, а также из-за рубежа гости уже могли любоваться уникальным памятником средневековья — Икалто.

Не успела остыть радость от успешно завершеного дела, а Медея уже была охвачена новой идеей. Сколько было разговоров о необходимости реставрации дворца Ираклия II, заключившего Георгиевский трактат. Но разговоры так и оставались разговорами, пока за это дело не взялась со свойственной ей решимостью Медея. Было принято постановление о реставрации этого памятника материальной культуры, об открытии на его территории этнографического музея. И снова Медея была и прорабом, и бригадиром, и подсобным рабочим. А весной 1972 года на площади перед дворцом в обстановке всенародного праздника был открыт памятник Ирак-

Тина Донжашвили. Так рождается песня.

лю — полководцу, государственному деятелю, скрепившему узы братства грузинского и русского народов.

А вслед за этим был открыт и мемориал — в память о тех, кто погиб в Великую Отечественную войну. Смотришь на этот памятник и точно слышишь плач матери-Родины по своим погибшим сыновьям и в то же время ощущаешь непоколебимость и стойкость ее духа.

В феврале 1973 года Медея Мезвришвили была избрана первым секретарем районного комитета партии Сагареджойского района.

В Сагареджо ее все еще помнили непоседливой, любознательной девчушкой. Но что с того, что прошли годы и она выглядит степеннее, солиднее. Она по-прежнему осталась тем же неисправимым романтиком, не умеющим жить спокойно и не дающим спокойно жить другим.

Она взвалила на себя нелегкое дело — район был отстающий.

Медея не теряла времени на разговоры — надо было действовать. Пришла пора возвращать долг земле, той самой земле, по которой она в детстве бегала босиком.

Вокруг нового руководителя района, внешне спокойного и невозмутимого, сгруппировался актив коммунистов. Началась и день ото дня разгоралась бескомпромиссная борьба. Медленно, но твердо утверждались в районе новые морально-этические нормы справедливости. И на первом же собрании крестьян в Патардзеули прозвучал призыв повести решительную борьбу со всеми недостатками, антисоциалистическими пережитками в районе.

В помощь району ЦК КП Грузии и правительство выделили комиссию, которая разработала научно-обоснованный, с учетом реальных возможностей, перспективный план (вплоть до 1990 года) развития Сагареджойского района. План этот стал действенной программой в работе райкома, каждого коммуниста, каждого трудящегося района. Прошло немного времени (а к этому времени руководство колхозов перешло к индивидуальной оплате труда с учетом количества и качества производимой продукции), и в борьбу с любителями легкой наживы втянулись даже те, кто еще совсем недавно уезжал из деревни на легкие заработки.

За короткий срок район настолько окреп, что стало возможным развернуть в нем широкое строительство. В районе воздвигнуто четыре мемориала погибшим в Великой Отечественной войне, три средние школы и одна восьмилетняя, три

детских сада (на 375 мест), больница (на 265 коек), авторемонтный завод, 60-квартирный жилой дом для рабочих этого завода, жилые дома для рабочих завода стройматериалов и для механизаторов. Построен в Сагареджо разливочный завод для марочных экспортных вин.

По перспективному плану к 1990 году площадь под виноградниками увеличится до 8 тысяч гектаров.

Медико наделена способностью зажигать людей. Незаметно, спокойно, часто с юмором, она привлекает на свою сторону тех, от кого зависит решение того или иного вопроса, а сама будто и ни при чем, словно и не от нее исходила инициатива.

С детства, с тех самых пор, когда она вместе со сверстниками совершала дальние походы, сказкой запала ей в душу лавра Давид-Гареджи, словно мираж возникающая на краю «удабно» — знойной пустыни, по которой разгуливает ветер.

Позже, в институте, знакомясь с историческими документами, она убедилась, что история лавры и пустыни — не сказка и не легенда, а подтвержденная документами быль. Так почему бы не возродить к жизни погребенные под песком следы человеческого бытия, оросить пустыню, развести виноградники, создать базу для животноводческого хозяйства? Разве это нам не под силу?

И еще... Лавра Давид-Гареджи — памятник материальной культуры грузинского народа, она и сегодня должна волновать умы и сердца тех, кто по достоинству может оценить прекрасное. И вновь за помощью Медея обратилась к правительству республики.

20 ноября 1975 года Совет Министров Грузинской ССР принял постановление «Об охране памятников культуры, входящих в комплекс Давид-Гареджи». А комплекс — это сама лавра Давида и возвышающиеся на пустынных холмах монастыри «Додос рка» и «Натлисмцемели».

— Оросить пустыню? — удивились некоторые ответственные работники. — Только зря выброшенные деньги. Там ведь ничего не будет расти...

— Будет, — не отступала Медея. — Там по сей день растут инжир и миндаль, посаженные Давидом в шестом веке! Можете убедиться сами.

И убедились. Во дворе монастыря Давид-Гареджи, не однажды разоренного во времена варварских нашествий на Гру-

Тина Донджашвили. Так рождается песня.

зию, и в самом деле цветут инжир и миндаль. Сохранилось даже водохранилище у подножия горы, в которое стекали дождевая и талые воды.

Государственная комиссия стала разрабатывать варианты орошения пустыни, были выделены средства на реставрацию комплекса Давид-Гареджи.

Пришли в пустыню реставраторы, проектировщики, рабочие, разбиты были первые палатки. Это было началом превращения мечты в действительность. И здесь уже все пели незатейливую песенку о Медико, которая возникла, полюбилась и буквально стала народной еще в годы ее работы в Телави.

52 тысячи гектаров земли, из которых засеяно только 6 тысяч, остальная целина — вот что было тогда, когда затевалось общее, всенародное дело. А Медее виделись отливающие золотом нивы, цветущие сады, она уже поила гостей сладким виноградным соком... Мысли ее летят еще дальше, к тому краю плоскогорья, где ютятся халупы так называемого управления овцеводческого хозяйства и где археологи обнаружили остатки обширного древнего поселения.

Все деревни Сагареджойского района — Ниноцминда, Патардзеули, Шиблиани, Кандаура, Гомбори, Уджарма, Гареджи, Иорский совхоз, лесное хозяйство, свиноводческое комплексное хозяйство, птицефабрика, передвижная механизированная колонна № 62, — все без исключения вызвались построить в возрождающейся пустыне на месте бывшего когда-то здесь поселения по одному жилому дому.

И в 1980 году, 16 ноября, деревня Удабно¹ (это многоговорящее название должно было, конечно же, остаться) отмечала день своего рождения. И веет от Удабно молодостью и будущим, потому что живет там в основном молодежь и партийные и хозяйственные руководители здесь молодые. Они взяли на себя нелегкое дело — вдохнуть жизнь в пустыню, возродить ее.

Но ведь наша молодежь — потомки тех, кто в нелегкие 20-е и 30-е годы осваивал Крайний Север и Дальний Восток, кто в грозные годы Великой Отечественной войны добровольно уходил на защиту своей земли.

Сегодня им тоже нелегко. Ведь они пришли отвоевать у пустыни, овеваемой шальными ураганскими ветрами и калимой зноем, целину, обжить ее — для своих потомков.

¹ Удабно (груз.) — пустыня.

И сегодня мы можем гордиться первыми коренными удабнойцами, для которых выстроены прекрасные комфортабельные двухэтажные дома, детские ясли и сады, восьмилетняя школа. В 1980 году началось строительство ирригационно-оросительной системы, и сегодня по каналам, прорезающим земли Удабно, бежит вода. А это уже основа для технически оснащенного комплекса овцеводческого хозяйства, для развернутых во всю ширь виноградников. Уже сейчас орошено 3600 гектаров земли, а будет орошено 9 тысяч гектаров целины. Здесь будут колоситься поля и цвести сады!

И еще века будет стоять лавра Давид-Гареджи, как свидетельство торжества человеческого сердца и разума. И не только Давид-Гареджи, но и храм XVI века Ниноцминда, на реставрацию которого не пожалели своих трудовых сбережений жители Сагареджойского района.

Тем временем в Манави открывается Музей грузинского виноградарства. И в этом, казалось бы, не было ничего удивительного. Кому, как не нашим виноградарям, унаследовавшим от предков любовь к лозе, бережно передавать ее потомкам! В музее вновь обрели родную почву те редкостные сорта грузинской лозы, которые были безжалостно уничтожены и растоптаны вражескими полчищами, и те, которые принесли сегодня грузинскому вину мировую известность.

Здесь можно будет ознакомиться со всеми процессами виноградарства и виноделия — от ухода за лозой, созревания винограда — до производства вина (от первого, примитивного способа его производства до настоящего).

Так в летопись Грузии вписывается еще одна страница, повествующая о глубоко уходящих в древность корнях, о побегах, набирающих силу под мирным небом, о благословенной деснице человека, создающего духовные и материальные ценности.

Так в общей песне о Грузии слышится песня и о Медее Мезвришвили, для которой настоящее неразрывно связано с памятью о прошлом и заботой о будущем.



Александр БАРАМИДЗЕ

«ЗАВЕТЫ ПРЕВРАТИЛИСЬ В ДЕЛО»

ГЕОРГИЕВСКИЙ трактат 1783 года явился логическим и закономерным следствием прогрессивных тенденций исторического развития Грузии, начиная с далекого прошлого, во всяком случае с XI—XII вв. Сближению и дружбе Грузии с Россией (сперва с Киевской Русью, а позднее — с Московским царством) способствовала до некоторой степени общность религии — христианское вероисповедание. Однако, говоря словами Н. Бараташвили, «что единство веры, если нрав столь различен...»

Дружественные связи между Грузией и Россией были обусловлены общностью интересов исторического, политического и культурного развития обеих стран на протяжении столетий. Нельзя считать случайным, что в 1154 году киевский князь Изяслав Мстиславович женился на грузинской царевне, а в качестве мужа для великой царицы Тамар был избран Георгий Боголюбский. В основе подобных браков был интерес политического, экономического и культурного сближения стран.

Нельзя считать случайным, что Грузия внесла некоторый вклад в культурную жизнь Киевской Руси.

Русские источники сообщают, что над фресками и мозаикой

Киевской лавры вместе с греческими трудились грузинские художники и мастера. Величественный храм и поныне хранит следы проделанной ими работы.

Этот факт свидетельствует прежде всего о том, что как Грузия, так и Русь в культурном отношении ориентировались на Византию—этот оплот православного христианского мира. И Русь и Грузия в одинаковой мере черпали из источника византийской цивилизации. На языки обеих стран переводилась богатая и разносторонняя византийская христианская литература, памятники которой в процессе перевода подвергались обработке в соответствии с местным национальным духом и традициями. В результате совершенно естественно, нисколько не препятствуя собственному, самостоятельному развитию, возникала определенная общность духовной жизни и религиозно-нравственных идеалов. Возникало совершенно естественное стремление наших народов лучше познакомиться друг с другом, сблизиться и подружиться.

Монгольское нашествие надолго затормозило дальнейшее развитие грузино-русских контактов. Они возобновились, расширились и приобрели регулярный характер только в позднефеодальную эпоху (XV—XVIII вв.), но к тому времени удельный вес политических сил был уже иным. Россия (теперь уже Московская Русь) расправляет крылья для великого взлета. Возникло мощное централизованное Московское государство, не только объединившее разрозненные русские княжества, но и освободившее ханства монголо-татарской Золотой Орды в бассейне Волги вплоть до Прикаспия и вскоре расширившее свои владения к югу до Кавказского хребта.

Таким образом, Московское государство, территориально приблизившись к Грузии, реально столкнулось с экспансией турок-османов и персов-кызылбашей. Грузия же в XV—XVI вв. была внутренне обессиленной и находилась в окружении агрессивных мусульманских государств (это окружение замкнуло свое кольцо с падением Константинополя, т. е. после 1453 г.). Расчлененная на несколько царств и княжеств, пришедшая в крайний упадок в результате феодальных междоусобиц, Грузия уже не в силах была справиться с внешними врагами. Экономика ее пришла в полное расстройство, многие церкви, монастыри и крепости были разрушены, села и города опустели. Угрожающие масштабы приняли набеги лезгинских феодальных банд.

Гурамишвили вспоминал:

...Когда я
Был млад, судьба лихая

Постигла отчий край:
От турок-кызылбашей
Хлебнули горя чашу,—
Не хочешь, а страдай!

В беде мы и в мученьях
Забыли про ученье,
Злой рок нас так настиг:

Лезгины в плен тащили,
Нас всех богатств лишили,
Не пощадив и книг!

Гурамишвили нисколько не преувеличивает. Действительно, тяжелая участь постигла книжное дело, просвещение, всю духовную культуру. Кому теперь было до учебы (да и где было учиться)? Языку Руставели и богатой грузинской письменности грозила гибель. В наших книгохранилищах имеются драгоценные рукописи, пережившие лезгинское «пленение». Но сколько подобных рукописей погибло навсегда, бесследно исчезло? Однако несмотря на все превратности судьбы ослабевший, но духовно сильный и несгибаемый грузинский народ не отказался от борьбы, не бросил ни плуга, ни пера. Когда пользоваться пером не было возможности, грузины создавали замечательные стихотворные образцы устной словесности. Именно во время марабдинской трагедии — одного из тяжчайших испытаний, выпавших на долю грузинского народа, было создано блестящее двустишие: «Снова вырастут волчата вдоль алгетских берегов, так не гинут, чтобы прежде не убить своих врагов».

Свидетельством огромной творческой потенции грузинского народа могут служить прекрасные поэтические образцы, записанные на стенах Ванского пещерного монастыря, и вся замечательная литература XV—XVIII веков.

Знаменательно, что если в древности для росписи Киевской лавры приглашали грузинских художников, то теперь, наоборот, царь Теймураз I просит московского царя прислать ему художников и мастеров для реставрации поврежденных фресок грузинских церквей и монастырей.

Прогрессивные политические деятели Грузии ясно отдавали себе отчет в том, что страна не могла собственными силами прорвать вражеское окружение, сохранить свою государственность и культуру. Она нуждалась в верном союзнике и могущественном покровителе.

В повестку дня со всей серьезностью ставится вопрос внешнеполитической ориентации. Вначале Грузия попыталась найти

общий язык с Западной Европой, предложив ей свое участие в борьбе против османской агрессии (девяностые годы XV века). Контакты с западноевропейскими странами и Римским папой продолжались столетиями (посольство Никифора Ирбаха в первой половине XVII в., переговоры Сулхана-Саба Орбелиани в десятые годы XVIII в. с Людовиком XIV и римским папой). Из этого, однако, ничего не вышло. У Западной Европы были свои заботы, ее мало волновала судьба далекой Грузии, хотя она и стремилась путем расширения католической пропаганды включить эту страну в сферу своего влияния.

Становилось ясно, что единственной внешней силой, действительно способной оказать реальную помощь и покровительство Грузии, было Московское государство.

Первым из грузинских царств и княжеств налаживает связь с Москвой Кахети. Кахетское царство было сравнительно сильным экономически и развитым в культурном отношении. Уже в конце XV в., а именно в 1492 году, устанавливаются пробные контакты между царем Кахети Александром и Московским царством, а в 1587 году другой Александр официально получает покровительство России, подписав так называемую «крестоцеловальную запись», т. е. формально становится подданным русского государя.

После этого регулярно происходит обмен послами с Московским царством, оживленные контакты и переговоры по конкретным вопросам. Цари Картли и Кахети Теймураз I (1589 — 1663), Арчил II (1647—1713), Вахтанг VI (1675—1737), Теймураз II (1700—1762) и Иракий II (1720—1798) решительно становятся на путь русской ориентации. Их поддерживают цари Имерети с удельными князьями.

Разоренный и терроризируемый шахом Аббасом Теймураз I все свои надежды возлагал на союз с Россией. Он установил постоянные дипломатические сношения с Московским царством. По приглашению царя Алексея Михайловича Теймураз в 1653 г. направил к московскому царскому двору с соответствующей свитой своего внука Ираклия, которого в России называли Николаем Давидовичем (впоследствии он стал Ираклием I — Назаралиханом). В 1658 г. Теймураз лично посетил в Москве Алексея Михайловича и подробно изложил ему свою просьбу. Теймураза приняли с царскими почестями, оказали ему и значительную финансовую помощь. Посредством дипломатической

Александр Барамидзе. «Заветы превратились в дело».

переписки, как и ранее, от шаха Аббаса требовали прекратить притеснения Теймураза. В те времена Россия не могла пойти на военный конфликт с Ираном: условия для этого еще не назрели.

Сохранился русский текст одного из писем Теймураза к московскому государю, преисполненный душевной боли и горечи грузинского царя за свою многострадальную родину.

Отношения с Россией получили свое развитие и при царе Арчиле, который вместе с женой, детьми и довольно большой свитой (162 человека) окончательно эмигрировал в Россию в 1699 г. и поселился под Москвой в селе Всехсвятском. Так возникла первая грузинская колония в Москве. Всехсвятское стало для грузин символом родины, миниатюрной Грузией на русской земле, — с грузинским населением, грузинскими управителями, национальной школой, церковью и типографией. По завещанию Арчила двери дворца во Всехсвятском всегда были открыты для приезжих землячков.

В 1724 г. с огромной свитой в 1200 человек (считая женщин и детей) в Москву прибыл и поселился в окрестностях Пресни царь Вахтанг VI, заложив тем самым основу для возникновения в Москве второго очага грузинской культуры (об этом очаге и сегодня напоминают московские улицы — Большая Грузинская, Малая Грузинская, Грузинский вал, бывшая Георгиевская площадь).

Московские колонии постепенно пополнялись новыми поселенцами.

Как мы уже отмечали, правящие круги Грузии и передовая общественность без колебаний разделяли точку зрения, согласно которой ориентация на Россию была единственно правильной альтернативой; следует сказать, однако, что ориентация эта имела и свои негативные, болезненные стороны. Дело в том, что Иран и Турция считали Восточную и Западную Грузию своими вассальными владениями. Оба завоевателя как бы поделили Грузию между собой и при этом нещадно ее грабили и разоряли (иногда между ними возникали конфликты, при которых каждая из сторон стремилась полностью завладеть страной). Сближение Грузии с Россией мусульманские завоеватели воспринимали как вмешательство русской державы в их внутренние дела и поэтому стремились опередить ее, ускорить ликвидацию грузинской государственности, обратить население в свою веру, добиться его полной ассимиляции, прибегая ко все более жестоким формам насилия, усугубленным разлагающим идеологическим воздействием.

Часть патристически настроенной грузинской общественности скептически относилась к усилению русско-грузинских контактов. В одном из своих стихотворений Вахтанг VI с болью отмечает: «Царя Арчила осуждали — ушел-де он в страну чужую (т. е. в Россию — А. Б.) ...и мне в вину вменяют то же».

Гурамишвили подтверждает, что при дворе Вахтанга (да и в самой царской семье) не все одобряли его прямолинейную политику (в стороне от нее держался, например, наследник престола царевич Бакар), но «царь был царь и поступал он, как разумным находил», — добавляет поэт.

Несмотря на сопротивление отдельных лиц и группировок (особенно при царе Вахтанге), прогрессивная грузинская общественность неуклонно и последовательно шла по надежному пути: сближения, дружбы и братства с Россией — пути, который вывел Грузию из политического тупика и привел к Георгиевскому трактату, избавив от угрозы физического уничтожения и вырождения.

Грузинские колонии в Москве сыграли большую роль в идейной подготовке Георгиевского трактата.

Главой и вдохновителем первой, всехсвятской колонии был Арчил II — царь и ученый, просветитель, талантливый поэт и мыслитель, утвердивший в грузинской литературе творческие принципы «правдивого повествования» — своеобразного реализма. Ряд его произведений написан в России — в Астрахани и Москве (во Всехсвятском). Именно в Москве, под наблюдением автора, были переписаны два замечательных сборника «Арчилиани» — фактически рукописное издание этого памятника. Арчил неустанно заботился о создании грузинской типографии, о печатании и распространении грузинских книг (благодаря его усилиям в 1705 г. в Москве вышел печатный сборник «Псалмов Давида»). Арчил был весьма плодовитым переводчиком. По его поручению Баграт Сологашвили приступил к переводу с греческого «Хронографа» Георгия Амартола (всемирной истории от начала до падения Константинополя, т. е. до 1453 года), а затем сам Арчил продолжил и завершил перевод (переводил он с русского языка). С русского он перевел и две книги из Ветхого завета («Книга Иисуса, сына Зирахова» и «Книга Маккавейская»), известное теологическое сочинение Петра Могилы «Исповедание («Катехизмо»)), перевел и дополнил житиями национальных святых знаменитый русский «Пролог-синаксарий». С русского же перевел Арчил такой важный памятник мировой романистики, как

Александр Барамидзе. «Заветы превратились в дело».

«Александриани» (роман об Александре Македонском). Арчил со своим сыном Александром снабжали сведениями о Грузии известного голландского ученого и государственного деятеля Николаса Витцена (1640—1719), использовавшего их в своей книге «Северная и Восточная Татария». На материалах Арчила была построена «Краткая история Грузии» на русском языке (А. Цагарели). Возможно, Арчил явился источником тех кратких, но важных исторических сведений, которые содержатся в книге Вольтера «История Карла XII».

Искусным переводчиком стал царевич Александр Арчилович (1674—1711), хотя он учился в Европе, а в России руководил артиллерийским делом (он даже перевел на грузинский язык «Книгу по артиллерии»), а последние десять лет жизни провел в шведском плену.

Выясняется, что царевич Александр познакомился в Амстердаме (Голландия) с печатным делом. Он прекрасно перевел с русского (частично с французского) на грузинский несколько литературных памятников, из которых особого внимания заслуживает «Тестамент царя Василия Македонского» — широко известное в мировой литературе сочинение дидактико-воспитательного характера. В качестве оригинала для своего перевода он использовал известную русскую редакцию Симеона Полоцкого. Грузинский перевод «Тестамент» был напечатан в Москве в 1739 г.

После Арчила все культурные начинания всехсвятского двора энергично и неустанно поддерживала его дочь, царевна Дареджан. Между прочим, сохранившийся и поныне храм во Всехсвятском построен в 1733 году именно на средства Дареджан.

Еще более широкий круг деятелей культуры собрался вокруг Вахтанга VI. Достаточно назвать хотя бы членов его семьи, и прежде всего — наследника престола царевича Бакара, имевшего большие заслуги в деле развития грузинского книгопечатания, первого издателя полного текста грузинской библии («Ветхого завета») в Москве в 1743 г. (это издание известно под названием «Бакаровской библии»), царевича Вахушти — выдающегося грузинского ученого, историка, географа, картографа, писателя. В Москве была завершена его знаменитая работа «Жизнь Грузии». Вахушти установил тесный научный контакт с членами Петербургской академии наук. По поручению академика Делиля географические атласы Вахушти были опубликованы на русском и французском языках и стали доступными для специалистов как в России, так и в Западной Европе.

Вахушти перевел с русского языка, а затем дополнил новыми данными учебник всемирной географии. Совместно с Георгием

Гамбарашвили он составил русско-грузинский словарь. Вахушти переложил сочинение Стефана Яворского «Камень веры» и др.

Царевич Георгий — выдающийся военный деятель, генерал, большой поклонник литературы, благотворитель и меценат. Он пожертвовал десять тысяч рублей наличными только что созданному Московскому университету. Широко образованным человеком был и царевич Паата.

Сам Вахтанг обладал универсальными знаниями и способностями. Этот пронзительный политик, дипломат и законодатель был в то же время ученым-естествоиспытателем (астрономом и физиком), филологом (издателем и комментатором первого критического текста поэмы Руставели), лексикографом, историком.

Незаурядный переводчик и тонкий поэт, он проявил себя как реформатор грузинского стиха и образцовый организатор литературного дела. Вахтанг вел в России активную политическую и дипломатическую деятельность. Время от времени, в часы досуга, он продолжал заниматься наукой и литературой. В Москве Вахтанг написал ряд замечательных лирических стихов; там же он переложил в стихи повесть «Амир-Насариани», обработал сборник новелл дидактико-воспитательного содержания и мудрых сентенций и афоризмов «Развлекательная мудрость», прозаический вариант которого был переведен с русского его сотрудником Эрасти Туркистанишвили. В поэзию Вахтанга проникли новые мотивы, новые образы. Так, например, жалуясь на судьбу, поэт пишет, что дни нашей жизни «кратки как русское лето». В Москве при жизни автора и при его поддержке Мелкиседегом Кавкасидзе и Димитрием Саакадзе переписаны четыре лучших рукописи сочинений Вахтанга.

Сотрудниками Арчила и Вахтанга VI на поприще науки, литературы и книгопечатания были архимандрит Лаврентий, который с 1705 г. возглавил величественный Донской монастырь в Москве (на территории этого монастыря Арчил построил свою родовую усыпальницу, ставшую впоследствии пантеоном вельможных грузин), иеромонах Баграт Сологашвили (переводчик «Хронографа»), духовные деятели, писатели, поэты и книгопечатники Иосеб Самебели, Христефор Гурамишвили (брат Давида Гурамишвили), Атанасе Амилахвари, Николоз Орбелиани, Габриэл Чхеидзе, Давид Джапаридзе, Гиви Туманишвили, Давид Туркистанишвили, Онано Кобулашвили (автор «Барамгулиджаниани»), Фома и Мамука Бараташвили, Николоз, Зосиме и Димитрий Орбелиани (братья Сулхана-Саба Орбелиани), сам Сулхан-Саба,

Александр Барамидзе. «Заветы превратились в дело».

который первым прибыл в Москву и обосновался при дворе царицы Дареджан, приводил в порядок дела Вахтанга, но вскоре тяжело заболел и скончался 26 января 1725 г. (говоря словами Димитрия Орбелиани, «погиб усталый труженик, и приняла его земля долины русской»). В свите Вахтанга VI были также Вахтанг Орбелиани (автор «Петергофа»), Отиа Павленишвили (автор поэмы «Вахтангиани»), Габриэл Геловани (мемуарист), Шиош Джавахишвили (поэт, соперничавший с Давидом Гурамишвили), Эрасти Туркистанишвили (переводчик русской «Апофтегматы»), Зураб Шаншовани, Георгий Гамбарашвили, Димитрий Цицишвили и многие другие.

В конце 1729 г. к свите Вахтанга примкнул бежавший из лезгинского плена Давид Гурамишвили.

В московских грузинских колониях с самого же начала развернулась оживленная культурно-просветительская деятельность. К первому поколению деятелей постепенно присоединялись новые творческие силы — молодые люди, получившие образование в России и за рубежом; все они упорно стремились обогатить свою национальную культуру достижениями русской и европейской цивилизации. Грузинские эмигранты как старшего, так и молодого поколений словом, делом и верой своей искренне служили утверждению в Грузии русской ориентации. Грузинские колонисты основательно знакомились с жизнью русского народа, с его нравами и обычаями, а через Россию (иногда и непосредственно) — с формами европейского государственного строя, с организацией военного дела и т. п. Они глубоко изучали русскую и европейскую науку и литературу, культуру. Полученные знания они распространяли как среди грузинских поселенцев в России, так и на своей родине.

С другой стороны, грузинские колонисты усердно распространяли в России знания, связанные со славным историческим прошлым Грузии и ее тогдашним бедственным положением.

Так московские грузинские колонии способствовали процессу грузино-русского и русско-грузинского взаимообмена культурными ценностями. Многие грузины подвизались на гражданской и военной службе в России, а также в области культуры. Они пользовались славой отважных воинов, преданных своему делу, талантливых и самоотверженных деятелей и патриотов, снискали всеобщее уважение и любовь.

Напомним всего лишь один характерный пример.

В 1700 г. в Нарвской битве в плен к шведам попала большая группа старших офицеров русской армии, и в том числе — генерал-фельдцейхмейстер Александр Багратиони. Десять лет провел

Александр в плену. Плохо перенося суровый северный климат и стесненные материальные условия, он часто болел. Но все же упорно продолжал заниматься литературной деятельностью, заботился о приобретении грузинского печатного шрифта. Петр I неоднократно пытался выволить из плена своего друга и соратника; несколько раз обращался к Карлу XII с просьбой освободить сына Арчил, но все было тщетно. Карл хорошо знал цену царевичу Александру и рассчитывал на солидный выкуп: он потребовал за Александра огромную сумму—десять бочек золота. Но казне, истощенной длительной войной, это было не под силу, и верный солдат русской армии и грузинский патриот категорически отказался от предложения шведского короля. «На то мы званы: терпеть и умереть за интерес государя и отечества», — ответил царевич Александр на запрос Петра I.

Во многих войнах, которые вела Россия, блеснули отвагой и мужеством воины грузинского гусарского полка (среди них — и Давид Гурамишвили).

Грузинские колонисты высоко оценивали постановку военного дела в России, организацию регулярного войска, его дисциплину, вооружение, облачение. Гурамишвили писал:

**Вызывает восхищенье
Войска русского уклад:
Каждый полк в особой форме,
На один устроен лад.
В поле стройно маршируя,
Как один идут солдат.
Удивительно искусство
Их подкопов и осад.**

Грузинские поэты-эмигранты восторженно воспевали политическую проницательность Петра I, его воинскую отвагу, личные человеческие достоинства и его самоотверженную деятельность, направленную на обновление России. Арчил посвятил своему покровителю пространную оду: «Я знал царя Петра...», в которой с возвышенным красноречием воспел русского государя в соответствии с традициями древнегрузинской одической поэзии.

В 1709 г. Арчил в специально написанном стихотворении поздравил Петра с блестящей победой над шведами под Полтавой.

Вдохновенно возвеличивал и Гурамишвили славного рулевого «северного» государства. Он писал:

Александр Барамидзе. «Заветы превратились в дело».

Был на севере владыка,
Повелитель всей России—
Петр Великий, нареченный
Императором впервые.

.....

О его душе бессмертной
Молят господа живые.

Объединение всехсвятского и пресненского очагов грузинской культуры положило начало существованию мощного грузинского культурного центра в Москве. Здесь успешно трудились грузинские ученые и писатели, создав целый ряд выдающихся оригинальных сочинений научного и литературного характера, здесь расправил крылья поэтический талант Гурамишвили. Здесь он писал: «Живя в Москве, мы солнца ждем!».

В московской грузинской колонии подвизалась группа квалифицированных грузинских книжников-каллиграфов (Гиви Туманишвили, Давид Туркистанишвили, Мелкиседег Кавкасидзе и др.). Здесь получили образование и достигли высот мастерства целые поколения грузинских переводчиков литературы различных отраслей и жанров — теологической, просветительско-философской, научно-технической, естествоиспытательской, законодательной, справочной, учебной, художественной. Переводы выполнялись главным образом с русского, но также и с иностранных языков (в основном — с французского: они принадлежали Александру Арчиловичу Багратиони, Вахушти Багратиони, Димитрию Цицишвили и др.). В грузинскую литературу проникла освежающая струя русско-европейской передовой общественно-философской мысли.

Переводческая работа, начавшаяся в московских грузинских колониях, получила позднее настолько широкий размах, что, по свидетельству царевича Иоанна, один только Гайоз Ректор перевел с русского до трехсот различных сочинений, в том числе «Велизарий» Мармонтеля (посвященный Юстиниану Великому и воинской доблести его прославленного полководца Велизария). В творчестве писателей, проживавших в грузинских колониях в России, становится заметной сравнительная простота стиля. Не может быть случайным, — писал Илья Чавчавадзе, — что Гурамишвили, подвизавшийся в России и на Украине, был «едва ли не первым», кто избавился от господствовавшего в древней грузинской литературе изощренного, крайне орнаментального («фигурального и аллегорического») стиля и «попытался внести черты европеизма в выразительные средства грузинского стиха».

В грузинской литературе стала заметной тематическая новизна (мотивы, отражающие русский быт). Возможно, отголоском благотворного влияния русской литературы были противопоставления бренного мира и человека («Прения живота и смерти»). То же можно сказать и об утверждении традиций буколической поэзии в грузинской литературе. В поэзии грузинских эмигрантов звучат интонации русского и украинского народного творчества (Давид Гурамишвили, Мамука Бараташвили). В Москве был составлен учебник нормативной грузинской поэтики «Проба» (Мамука Бараташвили).

Творчество многих грузинских поэтов-колонистов пронизывает глубокая, гнетущая тоска по родине. Такая тоска отравляла жизнь Давиду Гурамишвили, а Арчил горько стонал:

**Для того, кто на чужбине прожил много долгих лет,
Желчью горькой обернется самый сладостный шербет!**

Эти ностальгические мотивы более или менее характерны для всех грузинских поэтов, обосновавшихся в России. Типична в этом отношении прекрасная поэзия Димитрия Саакадзе — жизнелюба и весельчака, преисполненного чувства юмора. Достигнув глубокой старости, поэт упрекал судьбу:

**Ах, что ты сделала со мною! Ведь даже женщины
на Пресне
Меня обходят стороною, — со мною им неинтересно!**

В одном из своих стихотворений Димитрий Саакадзе с гордостью заявлял: «Меня узнаете тогда вы, когда увидите в Бобнави!» (Бобнави — родное село поэта, расположенное выше Атени). Однако надежду вернуться когда-либо в Бобнави он окончательно утратил: «Мне судьба грозит все время: — Не бывать тебе в Бобнави!» Сознание этого наполняет его сердце безмерной печалью.

Несмотря на отчаянную тоску, вызванную утратой «отчизны милой», Давид Гурамишвили никогда не забывал поразительной доброты и гуманности безвестного простого русского казака, который, не жалея сил, выхаживал его, больного и обессиленного, после побега из плена:

Александр Барамидзе. «Заветы превратились в дело».

**Был казак в селенье этом,
Мне ниспосланный судьбою,
Как родной отец за сыном,
Он ухаживал за мною,
Обнял он меня с любовью,
Оросил мне грудь слезою.**

Грузинская тема издавна заняла определенное место в русской исторической литературе, а также в записках русских путешественников и пилигримов, содержащих немало ценных сведений об очагах грузинской культуры в Иерусалиме и на Афоне. Так, например, путешественник XIV в. Игнат пишет, что в Иерусалимском Крестовом монастыре «богослужение осуществляется грузинами, на грузинском языке». Что же касается нового времени, а именно — начиная с XVII в., то особого внимания заслуживают «Сведения Василия Гагары и Арсения Суханова о Грузии». Грузинская тема нашла свое отражение и в русской теологической и художественной литературе. В России огромной популярностью пользовалась «чудотворная икона Иверской богоматери», о которой было создано несколько литературно оформленных преданий. По убеждению русских верующих, эта икона (как и вообще богородица Мария) была покровительницей не только «своего удела», т. е. Грузии, но и всего православного русского народа. В русском синаксари упоминается «пленница, просветительница Грузии», т. е. святая Нино. Заслуживают быть отмеченными такие известные памятники русской художественной литературы, как «Сказание о Вавилонском царстве» и «Повесть о грузинской царице Динаре», проникнутые вниманием к грузинской теме, интерес к которой возрос с расширением непосредственных контактов между отдельными представителями грузинского и русского народов. Вероятно, стремлению хотя бы частично удовлетворить этот интерес отвечали первые робкие попытки перевода памятников грузинской литературы на русский язык, как «Похождения новомодной красавицы Гуланданы и храброго принца Барама», т. е. «Барам - Гуландамиани» (СПб., 1773), «История георгианская о юноше князе Амилахорове, с кратким прибавлением истории тамошней земли от начала нынешнего века», (СПб., 1770), «В Астрахане» (произведение диалогического характера).

Создание грузинской типографии в Москве и печатание грузинских книг были связаны с именем царя Арчила и явились решением важнейшей исторической задачи. В силу известных исторических причин печатание грузинской книги началось

сравнительно поздно. Первая грузинская печатная книга вышла в свет в 1629 г. в Италии. Сразу же по приезде в Москву царь Арчил заказал венгерскому специалисту Миклошу Кишу (1650—1702) грузинский шрифт. Шрифт был готов в 1686-87 гг., но в 1688 г. Арчилу пришлось вернуться в Грузию. В 1703 г. Арчил отлил в Москве новый шрифт и в 1705 г. в казенной типографии напечатал «Псалмы Давидовы». Собственную грузинскую типографию организовала во Всехсвятском царевна Дареджан. Широкую известность приобрела напечатанная в этой типографии в 1739 г. учебная книга выдающегося русского просветителя Феофана Прокоповича (1681—1736) — «Первое учение отроков». Ее «перевел с русского языка на грузинский моларетухуцеси (главный казначей) царевны Дареджан Чхеидзе Габриэл, а на грузинском языке была она выправлена архимандритом Германом и напечатана в стольном граде Москве и во дворце царевны Дареджан».

Фактом особой важности стала изданная в Москве на грузинском языке библия («Ветхий завет»). Этот ценнейший памятник грузинского языка был издан для того времени образцово как с научной точки зрения, так и в полиграфическом отношении. Мечтая об издании библии, Арчил еще в Грузии приступил к собиранию рукописей. Текст у него был готов, но завершить начатое дело ему не удалось. Продолжил и завершил его царевич Бакар. Ему помогал царевич Вахушти. Окончательно текст был выправлен и подготовлен к печати Иосебом Самебели. Грузинская библия была напечатана в Москве в 1743 г. Это издание, осуществленное с большим знанием дела и чувством ответственности, не утратило своего значения до наших дней.

В московской грузинской колонии, помимо поселившихся там архимандрита Германа и Иосеба Самебели, издательским делом занимались также Христефор Гурамишвили, Атанасе Амилахвари и Николоз Орбелиани.

Неутомимый труд деятелей московской грузинской колонии, их тонкое интеллектуальное чутье, твердая вера и плодотворная культурно-просветительская деятельность в значительной степени подготовили идейную и психологическую почву

Александр Барамидзе. «Заветы превратились в дело».

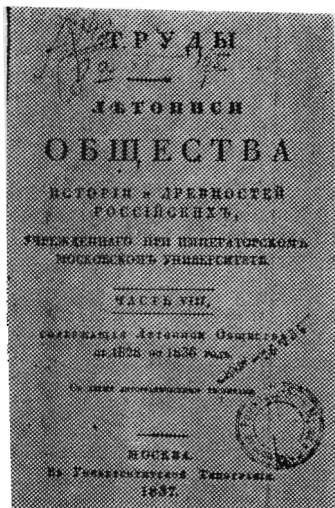
для заключения исторического Георгиевского трактата между Картл-Кахетским царством и Россией.

Сегодня, в дни 200-летия подписания Георгиевского трактата, хочется повторить вдохновенные слова Николоза Бараташвили, произнесенные в адрес мудрого царя Ираклия:

**Как оправдалось то, что ты предрек
Пред смертью стране осиротелой!
Плоды тех мыслей созревают в срок,
Твои заветы превратились в дело¹.**

¹ Характерно, что это стихотворение поэт посвятил известному ученому-нумизмату Михаилу Бараташвили (Баратаеву), внуку члена вахтанговской свиты и активного деятеля московской грузинской колонии Меликседага Бараташвили.





Надежда ДИМИТРИАДИ

ЕЩЕ ОДИН ФАКТ ИЗ ИСТОРИИ РУССКО-ГРУЗИНСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

ИСТОРИЯ постоянных дружественных контактов Грузии и России насчитывает века. Характер этих взаимоотношений в каждую конкретную эпоху бывал разным по своей интенсивности и содержательности. Неизменным в них оставался итог — общение Грузии и России безусловно способствовало нарастающей активизации взаимодействия двух культур, их взаимообогащению.

Как известно, все события эпохи, конкретные факты политической и культурной жизни народа находят свое отражение, помимо официальной истории, и в памятниках искусства. И в первую очередь это относится к литературе.

В книге «Труды и летописи общества истории и древностей российских», изданной в 1837 году в Москве, опубликован текст «Гру-

зинской песни слепого певца Екатерине Великой». В примечании к тексту читаем: «Песнь сия играна имеретинцем в Кутаисе на балалайке, имеющей долгую шею и нитяные струны. — Полковник Тамара приказал произнесенные во время пения слова записать и перевести».

«Песнь...» интересна прежде всего как свидетельство отражения конкретного исторического события в традиции светского музыкального творчества, вернее, как конкретный образец импровизации «на случай», что было в обычае придворного представления того времени.

Посланники России — П. Потемкин, полковник Тамара и сопровождавший их переводчик Коллегии иностранных дел С. Эгнаташвили в 1783 году привезли в Грузию царю Ираклию II проект дружественного трактата.

Затем с дипломатической миссией они посетили Имерети. В Кутаиси на торжественной встрече гостей и прозвучала эта песнь в исполнении слепого певца под аккомпанемент чонгури. Вот ее текст:

I

Первый восторг моего ображения, первый предмет моих мыслей, первое движение моего сердца и первое ударение моих перстов — есть слава твоя, о Екатерина!

II

Несчастливая прародительница человеков, Азия! Ты лишена лепоты своей; вздохи твои гнусны и слезы презрительны кажутся пожертвовавшим тобою детям твоим.

III

Повергнувшее и обезобразившее тебя чудовище терзает прекрасные члены, точит кровь твою; силы земные бегут и трепещут; в сердцах их презрительный страх; на языке клевета противу тебя.

IV

Кто устрашает устрашающего? Кто помрачает блистание очей свирепых? Кто томит силу ногтей ужасных и трясет челюсть кровожадного? Твой взор, о Екатерина!

V

Ты, первая из детей, подающая надежду возлюбленной прапаматери человеков, лишенной места и достоинства своего. Ты, поддерживающая ослабленную главу ся, рекла: не унывай! Я чту тебя; ты прекрасна очам и мила сердцу моему; ты мне своя, не чуждая.

VI

Восстани, древняя Сарра! Облекися, отри слезы, расчеси волосы, украси дом твой и возрадуйся, да възиграют в нем опять чада твои не иноплеменничьи.

VII

Се из Севера восстает туча огнедышащая и молнии мечущая; ее спасительные потоки очистят мглу и изнесут поругание из дома твоего.

С грузинского перевел коллежский ассессор Семен Игнатьев.

Анализируя подстрочник, по всей видимости, стихотворного текста, можно допустить, что в переводе он представляет собой в какой-то степени доработанный соответственно эталонам русской оды того периода вариант оригинала. И тем не менее достоинства пения и музыки безвестного чонгуриста, вероятно, эпическое звучание стихов на чужом языке, было настолько неординарным, что полковник Тамара, заинтересовавшись содержанием песни и по-

лучив тут же ее пересказ, не случайно приказывает сохранить текст для потомства и русской истории. Вряд ли самолюбию Екатерины II, всемогущей самодержицы, избалованной славословиями, могла польстить еще одна ода в ее честь, созданная за пределами ее империи. Да и сам текст, воздавая должное императрице, полон достоинства. Нигде не называя имени Грузии и в

то же время подчеркивая ее значительность и величие, автор подчеркивает саму собой разумеющуюся почетность помощи и поддержки «возлюбленной праматери чело­веков» со стороны Севера. Так что не верноподданническим рвением и не только политическими интересами дипломата было вызвано приказание сделать перевод. Тут, без сомнения, могли быть затронуты иные чувст­ва.



ХРОНИКА

ВСТРЕЧА С ЧАБУА АМИРЭДЖИБИ

В БОЛЬШОМ концертном зале Грузинской государственной филармонии состоялась встреча с известным грузинским писателем Чабуа Амирэджиби.

Сама форма литературного вечера — откровенный диалог с залом — позволила слушателям глубже заглянуть в творческую лабораторию писателя, узнать о том, что его волнует, раду­ет, расспросить о планах и дальнейших замыслах. Писатель ответил на многочис­ленные вопросы, затрагиваю­щие не только литературные, но и общественные проблемы.

В вечере приняли участие видные общественные деятели, писатели, поэты. О

творчестве писателя, о его широко известном романе, несущем в себе свет высокой нравственности, говорил академик Академии наук Грузии А. Зурабашвили.

Отрывки из романа Ч. Амирэджиби «Дата Туташиа» читали актеры О. Мегвинетуцеси, Л. Дзиграшвили, Л. Чхейдзе, Р. Таварткиладзе, М. Джинория. На вечере прозвучали стихи М. Лебанидзе, Л. Сулаберидзе, З. Болквадзе, посвященные автору романа.

ВЕЧЕР ПОЭЗИИ

В БОЛЬШОМ концертном зале Грузинской государственной филармонии состоялся вечер поэзии известной грузинской поэтессы, главного редактора журнала «Сакартвелос кали» Марики Бараташвили.

На вечере собрались многочисленные почитатели таланта поэтессы.

М. Бараташвили занимает значительное место и в советской драматургии. Она автор многих пьес, а ее пьеса «Стрекоза» переведена на многие языки народов нашей страны, а также на итальянский, польский, китайский и другие. Ставилась она не только на сценах Советского Союза, но и за рубежом.

О самобытном творчестве М. Бараташвили на вечере говорила заслуженный деятель искусств, театровед Л. Догондзе.

Стихи поэтессы прозвучали в исполнении заслуженных артистов республики Т. Ласхишвили, Е. Асламазашвили, Л. Учанеишвили, Т. Хаиндрава, Э. Сагарадзе, поэта В. Гоголашвили.

Народная артистка Грузинской ССР, актриса Тбилисского академического театра оперы и балета имени З. Паляшвили Н. Мкервалидзе и женский квартет «Таигули» исполнили песни, написанные на стихи М. Бараташвили.

Затем М. Бараташвили прочитала свои стихи и ответила на многочисленные вопросы.

На вечере поэзии присутствовали заместитель Председателя Президиума Верховного Совета Грузинской ССР В. Сирадзе, секретарь Президиума Верховного Совета республики Т. Лашкарашвили, секретарь Совпрофа Грузии З. Квачадзе, второй секретарь Тбилисского горкома Компартии Грузии Н. Гургенидзе, заместитель председателя Тбилгорисполкома Н. Жвания.

На 1-й стр. обложки: монумент «Победы» в г. Гори (скульптор Элгуджа Амашукели).

Сдано в набор 18.III.83 г. Подписано к печати 17.V.83 г. Формат 84×108¹/₃₂. УЭ 01222. Высокая печать. Печ. л. 7,0—усл. печ. л. 11,97. Уч-изд. л. 9,4. Тираж 8600 экз. Заказ № 756. Адрес редакции: 380008, Тбилиси, ул. Ленина, 5. Телефон: 99-06-59.

Главный редактор Т. П. БУАЧИДЗЕ.

Редакционная коллегия:

Ч. И. АМИРЭДЖИБИ, Э. Г. АНАНИАШВИЛИ, Р. Н. АСАЕВ, А. Н. БЕСТАВАШВИЛИ, Х. Л. ГАГУА, А. Н. ГОГУА, Э. В. ЕЛИГУЛАШВИЛИ, М. И. ЗЛАТКИН, Н. Г. КАРАШВИЛИ (ответственный секретарь), Г. Г. МАРГВЕЛАШВИЛИ, В. Г. МАЧАВАРИАНИ, Л. Ш. СТУРУА, Э. А. ФЕЙГИН, Г. В. ХАРАИДЗЕ (заместитель главного редактора), Г. Ш. ЦИЦИШВИЛИ.

ТЕЛЕФОНЫ:

Главный редактор — 93-65-15, заместитель главного редактора — 93-13-57, ответственный секретарь — 93-31-28, приемная — 99-06-59, отделы — 93-31-43 и 93-65-19.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КП ГРУЗИИ
Тбилиси, ул. Ленина, 14.

